

ПРОРОК В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ



ФЁДОР
ТЮТЧЕВ.
Россия. Век XIX



ВАДИМ КОЖИНОВ

Вадим Кожинов

**Пророк в своём отечестве.
Фёдор Тютчев. Россия. Век XIX**

Арт-Холдинг «Медиарост»

2023

УДК 94(47)4-882
ББК 63.3(2)+83.3(2)

Кожин В. В.

Пророк в своём отечестве. Фёдор Тютчев. Россия. Век XIX /
В. В. Кожин — Арт-Холдинг «Медиарост», 2023

ISBN 978-5-6048617-8-3

Тонкость мысли, тонкость чувства, тонкое проникновение в мир поэтического слова – это «почерк» выдающегося литературоведа Вадима Кожина. С первых же глав возникает ощущение, будто автор сам жил среди своих героев в «золотом» девятнадцатом веке. Но слово Вадима Кожина может быть и публицистически сильным – в тех эпизодах, которые касаются острейших политических проблем: Крымской войны, противостояния России и Запада, исторических «побед и бед» России. Повествование выстроено в хронологической логике. 12 глав подробно рассказывают о личной, творческой и гражданской биографии Фёдора Тютчева. Причём автор подчёркивает, что стремится создать именно двойной «портрет» Тютчева – как гениального лирика и как недооценённого дипломата, политика и общественного деятеля. Сам автор мыслил этот свой труд как среднюю часть своеобразной трилогии о русской истории и литературе, куда входят также книги «История Руси и русского Слова» и «Россия. Век XX». В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 94(47)4-882
ББК 63.3(2)+83.3(2)

ISBN 978-5-6048617-8-3

© Кожин В. В., 2023

© Арт-Холдинг «МедиаРост», 2023

Содержание

Введение	7
Часть первая	11
Глава первая	11
Глава вторая	25
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Вадим Валерианович Кожин

Пророк в своём отечестве.

Фёдор Тютчев. Россия. Век XIX

© ООО «Арт-холдинг “Медиарост”», 2023

© Кожин В. В., наследники, 2023

*Народы, племена, их гений, их судьбы
Стоят перед тобой, своей идеи полны,
Как вдруг застывшие в разбеге бурном волны...
Ты видишь их насквозь, их тайну ты постиг,
И ясен для тебя и настоящий миг,
И тайные грядущего обеты...*

Аполлон Майков. Ф. И. Тютчеву. 1873

Введение

В издательстве «Алгоритм» в 1999 году вышли в свет мои книги «История Руси и русского Слова (конец IX – начало XVI века)» и «Россия. Век XX. Опыт беспристрастного исследования» (в двух томах). Таким образом, за пределами моего внимания остались почти четыре столетия (XVI–XIX) отечественной истории, и эта книга призвана в определенной мере дополнить предшествующие.

Правда, ее непосредственный «предмет» – не история как таковая, а жизнь и деятельность великого поэта, мыслителя и гражданина Фёдора Ивановича Тютчева (1803–1873), но читатели убедятся, что преобладающее место в книге занимает всё же *именно* история XIX века – к тому же в ее связи с предшествующей историей и с тем будущим, которое с редкостной прозорливостью умел предвидеть наш гениальный соотечественник.

Несмотря на то, что в 1812 году Тютчев был еще в отроческом возрасте, он всем существом *пережил*, а впоследствии глубоко осмыслил события того времени. Согласно ряду свидетельств знавших его людей, становление его души и его разума совершилось необычайно рано, чему способствовала сама драматическая и героическая эпопея 1812–1814 годов.

Наполеоновская армада вторглась в Россию 12 июня 1812 года, а 13 июня 1843 года Тютчев написал о Москве: «...город, который тридцать один год назад был свидетелем походов Наполеона и моих». Фраза, конечно, имеет шуточный характер, но вместе с тем она ясно говорит о том, что Тютчев действительно пережил и навсегда сохранил в памяти 1812 год, когда, в частности, его семья вынуждена была уехать из Москвы в Ярославль. Но он, конечно, помнил и о том, что в марте 1814 года победоносные русские войска вошли в Париж... А почти шесть десятилетий спустя, в июле – сентябре 1871 года, Тютчев присутствовал на заседаниях «Процесса нечаевцев», этих «ультрареволюционеров», в которых он видел симптом неотвратимости надвигающегося на Россию великого потрясения (так же воспринял нечаевцев и Достоевский, создавший в конце 1869–1870 гг. пророческий роман «Бесы»). Тютчев писал 17 июля 1871 года, почти ровно за два года до своей кончины: «Что касается самой сути процесса, то она возбуждает целый мир тяжелых мыслей и чувств. Зло пока еще не распространилось, но где против него средства? Что может противопоставить этим заблуждающимся, но пылким убеждениям власть, лишенная всякого убеждения?..»

Этот тютчевский приговор власти может кое-кому показаться несправедливым; однако не прошло и полвека, и российская власть, в сущности, рухнула как бы сама собой, без хоть сколько-нибудь заметного сопротивления...

О Тютчеве можно с полным правом сказать, что он *жил* историей – Историей с большой буквы, то есть тысячелетней, которую он постоянно изучал, и сегодняшними ее событиями, в которых он умел видеть естественное продолжение многовекового развития России и мира. Любое современное ему событие он стремился и смог понять как новое звено Истории в целом.

Большинство людей знают и ценят Тютчева главным образом или даже исключительно как поэта. Но достаточно более пристально взглянуть на его полувековую деятельность, и становится ясно, что поэтическое творчество занимало в ней не столь уж существенное место. Многозначителен и тот факт, что Тютчев не стремился обнародовать свои творения: почти все их публикации в журналах, альманахах и газетах, а также два изданных при жизни поэта поэтических сборника (первый из них вышел, когда ему уже шел шестой десяток!) появились только благодаря усилиям его почитателей или родственников.

Исключение составляли чисто «политические» стихи, которые Тютчев называл «рифмованными лозунгами» или «статьями» и сам отправлял их в печать, но лишь ради воздействия на политику, а не как собственно поэтические творения.

Характерно, что в книгах и статьях о Тютчеве нередко содержатся «упреки»: зачем, мол, он отдавал свои основные силы не поэзии, а познанию истории и различного рода «акциям», призванным воздействовать на ее дальнейший ход? Но есть достаточные основания утверждать, что роль Тютчева и в осмыслении истории, и в прямом воздействии на нее (главным образом на историю российской внешней политики) была по-своему не менее значительной, чем его роль в русской поэзии, хотя и сегодня об этом знают немногие люди.

Правда, в последнее время более или менее утвердилось представление о Тютчеве как об одном из наиболее проникновенных творцов русской *философии истории*, или, иначе, *исторической философии*, что выразилось, например, в издании в 1999 году собрания его соответствующих сочинений в стихах и прозе: «Россия и Запад: книга пророчеств». Но дело не только в глубине и всеобъемлемости тютчевского мышления об истории, но и в его реальном воздействии на ее ход – особенно в последний период его жизни (1857–1873), когда он был главным советником министра иностранных дел князя А. М. Горчакова.

Всё вышеизложенное дает основания для нижеследующего сочинения, в котором я стремлюсь увидеть нашу историю XIX века (да и не только XIX) как бы *глазами Тютчева*. Речь идет, понятно, не просто о его видении истории, но о воплотившихся в этом видении духовной высоте, проникновенном разуме и политической воле.

Как уже сказано, глубокий исторический смысл присутствует не только в тех или иных высказываниях Тютчева, но во всей полноте его жизни и деятельности, и мое сочинение имеет своей целью так или иначе воссоздать именно эту полноту, а не только тютчевские *мысли* об истории. Ибо, повторю, Тютчев в прямом смысле слова *жил* историей – от отроческих лет, пришедшихся на Отечественную войну, до почти семидесятилетнего возраста, когда он убедился на «Процессе нечаевцев» в неизбежности близящейся российской революции...

* * *

Считаю уместным рассказать о том, что мое особенное внимание именно к Тютчеву (только о нем одном я написал книгу¹) было как бы предопределено, ибо мой дед по материнской линии в молодости, в 1880-х годах, стал домашним учителем внуков Тютчева – Фёдора и Николая.

Кто-либо может подумать в связи с этим об определенной «привилегированности» моего деда, но дело обстояло как раз противоположным образом. Отец моей матери Василий Андреевич Пузицкий (1863–1926) был сыном беднейшего ремесленника, жившего в захолустном городке Белый Смоленской губернии, но, как явствует из его сохранившейся юношеской записной книжки, он с отроческих лет горячо стремился получить образование и сумел – правда, только в двадцатидвухлетнем возрасте, в 1885 году, – окончить Смоленскую гимназию и поступить на историко-филологический факультет Московского университета.

Уже в старших классах гимназии и тем более в университете он давал множество уроков детям из состоятельных семей, тем самым обеспечивая материально не только себя, но и оставшуюся в Белом семью. И вот в его записной книжке появляется следующая «информация»: «С 22 августа 1887 года до 1 октября в селе Мураново Московской губернии и уезда у действительного статского советника Ивана Феодоровича Тютчева – 60 рублей в месяц. Ольга Николаевна, София Ивановна, Федя, Коля, Катя» (то есть супруга И. Ф. Тютчева, урожденная Путята (племянница супруги Евгения Боратынского), и четверо внуков поэта).

Дед мой проводил лето в Муранове и в последующие годы. Вот еще одна его запись: «Лето 1888 г. С 15 мая по 1 сентября. 210 рублей. Федя, Коля Тютчевы – 60 рублей (в месяц)».

¹ Правда, в 1976 году я издал небольшую книжку (в сущности, брошюру) о жизни и творчестве Николая Рубцова (1936–1971), с которым был в дружеских отношениях.

Как известно, И. Ф. Тютчев (1846–1909) был очень близок со своим отцом (в частности, подготовил к изданию его сочинения), во многом унаследовал его убеждения, а после его кончины перевез из Петербурга в принадлежавшую его жене усадьбу в подмосковном селе Мураново все вещи, книги, рукописи отца, заложив тем самым основу знаменитого Мурановского музея. И мой дед не только учил внуков поэта, но и «учился» в беседах с И. Ф. Тютчевым и до самой своей кончины посещал Мураново.

Василий Андреевич скончался за четыре года до моего рождения, и к тому же, поскольку он был по своим убеждениям монархистом и патриотом Российской империи, в моей семье старались поменьше говорить о нем. Но в 1946 году я обнаружил среди старинных книг его упомянутую записную книжку и счел необходимым навестить в Мураново, где застал в живых внука поэта Николая Ивановича и его внучек Софью Ивановну и Екатерину Ивановну. Они прекрасно помнили моего деда и приняли меня очень доброжелательно (вероятно, и потому, что я как бы напомнил им об их юных годах). Позже я еще дважды приезжал к ним и вел разговоры, из которых очень многое почерпнул, притом наиболее важна была не «фактическая» сторона их высказываний, а сам их дух, сама «атмосфера» их сознания и бытия...

Поэзию Тютчева я неплохо знал и до приезда в Мураново, но тогда я как бы соприкоснулся с живой памятью о нем. Правда, Н. И. Тютчев родился через три года после кончины своего деда, но он рос среди людей, которые жили одной жизнью с поэтом (в их числе вторая его жена Эрнестина Фёдоровна, которая до своей кончины в 1894 году обитала в Муранове). Словом, мои встречи с внуками Тютчева породили совершенно особенное отношение к нему, которое в конце концов побудило меня написать книгу о нем, хотя я и «дозрел» до этого свершения только несколько десятилетий спустя.

Невольно задумываешься о ходе времени. Многие думают, что XIX век – это крайне отдаленная от нас пора, но вот точный подсчет: я приехал в Мураново в 1946 году, через 59 лет после моего деда, но с тех пор прошло уже 54 года – почти столько же... Добавлю к этому, что и сегодня здравствует правнук Тютчева, сын его внучки, знакомой мне Екатерины Ивановны, – Николай Васильевич Пигарёв. Таким образом, нас отделяет от Тютчева всего лишь время его сыновей и внуков; его правнук еще жив... (Н. В. Пигарёв скончался в 2005 году. – *Ред.*). Кстати сказать, мой дед мог бы видеть Тютчева: в год кончины поэта ему исполнилось десять лет.

Как сказано выше, моя книга посвящена главным образом истории XIX века. И я заговаривал о своем «соприкосновении» с внуками Тютчева прежде всего для того, чтобы утвердить верное представление об этой истории. Она, в сущности, очень близка к нам: мой дед, не говоря уже о прадеде, был современником Тютчева. И многие факты и проблемы, о которых идет речь в моей книге, имеют вполне «современное» звучание и значение...

Мне могут возразить, что история страны до революции и после нее слишком резко различаются, в частности, в том аспекте, что человеческие семьи, игравшие значительную роль в Российской империи, после 1917 года если и не подвергались репрессиям, то уж во всяком случае были лишены каких-либо привилегий и почестей.

Ф. И. Тютчев, несмотря на свои непростые взаимоотношения с верховной властью (о чем будет рассказано подробно), пользовался благосклонностью со стороны Николая I и в особенности Александра II. В 1865 году император удостоил его чином тайного советника, который являл собой третью, а фактически даже вторую ступень в государственной иерархии, ибо наивысшего чина не имел тогда ни один человек (в 1867 году его удостоился А. М. Горчаков).

Высокое положение Тютчева так или иначе сказалось на судьбе его детей. Его дочери Анна, Екатерина и Дарья были фрейлинами при высочайшем дворе, а сын Иван – гофмейстером (что соответствовало в придворной иерархии чину тайного советника) и членом Государственного совета.

Тот же удел ожидал и внуков – детей Ивана Фёдоровича Тютчева. Его дочери Софья и Екатерина стали фрейлинами, причем первая была воспитательницей дочерей Николая II

Ольги и Татьяны (убитых в 1918 году), а сын Николай – церемониймейстером двора (соответствовало чину статского советника).

Казалось бы, послереволюционная судьба такой семьи должна была оказаться прискорбной или по крайней мере чрезвычайно «приниженной». Однако внук Тютчева Николай Иванович, бывший церемониймейстер высочайшего двора, стал заслуженным деятелем искусств РСФСР и кавалером ордена Трудового Красного Знамени²; тютчевский правнук Кирилл получил за свою книгу о Суворове (1943) высокое одобрение самого И. В. Сталина (о чем мне в 1946 году не без восторга рассказывала его мать – бывшая фрейлина Екатерина Ивановна), а затем также звание заслуженного деятеля искусств и степень доктора наук; его сестра Ольга была школьной учительницей детей Сталина Василия и Светланы³, как бы повторив «миссию» своей тети Софьи Тютчевой, которая воспитывала дочерей Николая II...

Вышеизложенное может показаться чем-то совершенно несообразным и исключительным, но нечто подобное было, например, и в истории моей семьи. Мой дед, В. А. Пузицкий, дослужился до чина действительного статского советника (соответствовало генерал-майору), а один из его сыновей, Сергей (1896–1937), стал советским комкором (то есть генерал-лейтенантом) и кавалером двух орденов боевого Красного Знамени⁴, а другой сын, Владимир (1898–1978), – полковником военно-медицинской службы, начальником главной поликлиники Военно-воздушных сил СССР и кавалером нескольких орденов.

Этого рода судьбы детей «бывших» – не какие-то раритеты. Так, полковник Генерального штаба императорской России Б. М. Шапошников стал Маршалом Советского Союза, а граф А. Н. Толстой – одним из наиболее чтимых советских писателей, лауреатом Сталинских премий, депутатом Верховного Совета СССР, академиком и т. п. Говоря коротко, история сложнее и противоречивее, чем пытаются толковать ее многие нынешние авторы, утверждая, что после 1917 года все, как говорилось, «бывшие» и их дети были лишены всяких прав и возможностей.

Разумеется, Россия в 1917–1937 годах пережила чудовищный революционный катаклизм, однако к концу 1930-х годов она, согласно известному речению, возвращается на круги своя, что выразилось и в судьбе потомков Фёдора Ивановича Тютчева. Но пора обратиться к его собственной судьбе...

² Стоит добавить, что друг детства и юности Н. И. Тютчева, С. В. Симанский (1877–1970), бывавший на уроках моего деда, в 1913 году стал епископом Алексием, а в 1945 году с одобрения Сталина был избран Патриархом Московским и всея Руси и за свою деятельность получил четыре ордена Трудового Красного Знамени. В 1949 году я познакомился с ним в Муранове, куда он заехал по дороге в Троице-Сергиеву лавру, чтобы навестить старого друга, и, как выяснилось, он помнил моего деда.

³ См. об этом, в частности, в воспоминаниях правнука Тютчева, Николая Васильевича Пигарёва, опубликованных в книге «Москва родословная», изданной в Москве в 1998 году.

⁴ Нельзя, конечно, умолчать, что он погиб в терроре 1937 года.

Часть первая 1803–1822

Глава первая Овстуг

Где мыслил я и чувствовал впервые...

Овстуг. 1849

Фёдор Иванович Тютчев родился 23 ноября (по новому стилю – 5 декабря) 1803 года в селе Овстуг, расположенном у реки Десны, сорока верстами выше города Брянска, входившего тогда в Орловскую губернию. Здесь прошли его детство, отрочество и первые годы юности. Правда, почти каждый год Тютчевы проводили несколько месяцев (обычно зимних) в Москве, которая также сыграла неоценимую роль в становлении поэта, о чём пойдет речь в следующей главе книги. Но всё-таки настоящей родиной Тютчева был Овстуг и его окрестности. «Здесь, – сказал позднее поэт, – мыслил я и чувствовал впервые...»

Старший современник Тютчева, исключительно высоко им ценимый Иоганн Вольфганг Гёте, оставил нам знаменитый афоризм: «Тот, кто хочет понять поэта, должен идти в страну поэта». Слово «страна» (немецкое Land) означает в высказывании Гёте ту «землю», «край», «почву», которая имеет решающее значение в человеческом и творческом становлении поэта. И прежде всего нам надо попытаться более или менее ясно представить себе «страну» Тютчева.

Овстуг расположен в той части, или, вернее, частице России, которая обычно зовется среднерусской полосой. Возьмем карту Европейской России и изберем на ней какую-либо точку в трехстах пятидесяти километрах к югу от Москвы. Ну, скажем, селение Богодухово на реке Неручь – притоке Зуши, впадающей, в свою очередь, в Оку. Если взять это селение в качестве центра некоего круга радиусом 150–200 километров, окажется, что заключенная в таком круге совсем малая часть России (всего каких-нибудь три процента площади ее *европейской* территории!) породила поистине великую плеяду художников слова, имена которых: Тютчев, Кольцов, А. К. Толстой, Тургенев, Полонский, Фет, Никитин, Лев Толстой, Лесков, Бунин, Пришвин, Есенин...

Всех их часто называют «певцами русской природы». Но это только одна сторона их творчества. Можно утверждать, что каждый из перечисленных художников слова – сознательно или бессознательно – стремился прямо и непосредственно воплотить эстетически положительные качества русского бытия и, в конечном счете, ставил перед собой цель сотворить национальный образ прекрасного. Красота русской природы для этих художников – только необходимое начало, исток, основа национальной красоты в ее целостном содержании, и природное прекрасное предстает в их искусстве в органическом единстве с человеческой красотой и, далее, покоряющей красотой самого их художественного слова.

Необходимо оговорить, что «красота» и «прекрасное» в эстетике имеют мало общего с чисто бытовым употреблением этих слов, подразумевающим радующие глаз своей гармоничной формой явления, лица, предметы. Прекрасное в эстетике – и особенно в русской эстетике – немыслимо без напряженного духовного порыва, драматизма или даже трагедийности, что с такой яркостью выразилось в поэзии Тютчева; можно сказать, что его красота – это главным образом трагическая красота.

Но вернемся к тютчевской «стране». Двенадцать названных выше имен слишком, даже, пожалуй, чрезмерно весомы, чтобы их происхождение из одной и той же столь малой части Русской земли, части, которую и на лошадях-то можно было пересечь за день-два, являло собой лишь случайное совпадение.

Эта в буквальном смысле *среди́нная* часть Русской земли (Богодухово лежит примерно в тысяче верст и от Белого, и от Чёрного морей) среди́нна и в чисто природном отношении. Это *лесостепь*, которая дает почуять степную ширь и в то же время еще сохраняет – местами даже и до сего дня – могучие боры, дубравы и рощи. И кроме того, в этом крае особенно рельефно выражена Среднерусская возвышенность. И с крутых холмов (князь Игорь, между прочим, двигался в половецкую степь именно через этот край, через эти холмы-шеломы, последний из которых горестно упомянут в «Слове»: «О Руская земле! Уже за шеломянем еси!») открываются захватывающие дух просторы.

Впрочем, нет смысла говорить об этом крае «вообще». Перенесемся прямо в Овстуг, помня, что всего в пятидесяти верстах к югу в родственной местности лежит Красный Рог А. К. Толстого, в ста верстах к юго-востоку – лесовское Панино, еще в ста верстах за ним – припшинское Хрущово, а если на рассвете отправиться из Овстуга на добрых лошадях к северо-востоку, к концу дня доберешься в фетовские Новосёлки или тургеневское Спасское-Лутовиново, а к следующему утру – и в Ясную Поляну.

В нескольких километрах к западу от Овстуга над Десной вздымаются высокие холмы, один из которых, согласно географической мерке, должен даже зваться горой: его высота над уровнем моря – 228 метров. С этих холмов можно увидеть облик края во всём его размахе. К северу за широкой поймой Десны несколькими ярусами поднимается вековой лес, а на юге развертывается беспредельное пространство полей, уже за горизонтом которого – дубравы Красного Рога. Десна петляет в своем вольном русле, и ее извивы видны на много верст вдаль.

В этих местах словно сошлись лицом к лицу русский Север и русский Юг; здесь обитают и глухарь, и орел-беркут. Можно недоумевать над написанным в Овстуге стихотворением Тютчева «Смотри, как роща зеленеет...», которое кончается строками:

И лишь порою крик орлиный
До нас доходит с вышины... —

пока не увидишь на зоогеографической карте изданного в 1976 году «Атласа Брянской области» фигурку орла, нанесенную покамест еще, как и фигурка глухаря, тревожным красным цветом (обозначающим «редких животных»), а не безнадежным коричневым («исчезающих» – как, например, стрепет). В тютчевские времена «крик орлиный» могли слышать все побывавшие в Овстуге. Алексей Толстой писал тогда в полусотне верст к югу от Овстуга:

Край ты мой, родимый край!
Конский бег на воле,
В небе крик орлиных стай,
Волчий голос в поле!
Гой ты, родина моя!
Гой ты, бор дремучий!
Свист полночный соловья,
Ветер, степь да тучи!

Бор и степь, орел и соловей – это не просто романтический набор (хотя знатоки поправляют автора, утверждая, что орлы не собираются в стаи), но точная зооботаническая характеристика родимого края Тютчева.

Этот край не только сердцевина всей русской природы, но и сердцевина русского народа. Нелегко разглядеть национальное единство архангельских поморов и кубанских казаков, отделенных друг от друга двухтысячеверстным пространством. Но русские люди, живущие вокруг Богодухова, как бы соединяют в себе черты тех и других – и в образе жизни, и в душевном складе, и в слове. И, чтобы убедиться в этом, нет необходимости изучать бытие всего населения срединной Руси. Вполне достаточно взглянуть в творчество художников, выросших из этой почвы и выразивших ее сокровенную суть. В лирике Тютчева, в песнях Кольцова, в балладах Алексея Толстого, в очерках и романах Тургенева, в эпосе Льва Толстого, в сказках Лескова, в новеллах Бунина воплощен образ общенародной, *общенациональной* красоты.

И самый тот факт, что все эти художники слова произошли из одной и той же небольшой части Русской земли, чрезвычайно многозначителен. Он со всей убедительностью подтверждает решающую роль срединной Руси в творческом становлении Тютчева и Кольцова, Тургенева и Лескова, Пришвина и Есенина. Именно здесь, где (если попытаться наметить броские контуры многообразнейшего целого) как бы сведены лицом к лицу и угрюмый бор с его глухарями, и раздольная степь с ее орлами, именно здесь, где в человеческих обликах и душах могут объединиться и примириться суровость помора, плывущего в Ледовитый океан, и лихость казака, скачущего к Кавказскому хребту, – именно здесь могло и должно было зародиться в будущих великих художниках то зерно, то ядро, из которого развился затем общенациональный образ красоты.

Мы знаем, что на семнадцатом году жизни Тютчев на долгие годы – на четверть века! – расстался со своими родными местами. Но мы знаем также об удивительно ранней духовной зрелости поэта. Его первый биограф Иван Аксаков дивился «его преждевременному развитию, что, впрочем, можно подметить почти во всём детском поколении той эпохи» (Аксаков тут же небезосновательно объясняет это стремительное созревание поколения могучим воздействием эпопеи 1812 года). Домашний учитель Тютчева, Семён Егорович Раич вспоминал, что уже лет с тринадцати Фёдор был «не учеником, а товарищем моим».

Неколебимое осознание верховного смысла и ценности родины и народа сложилось у поэта уже в самой ранней юности. Об этом со всей ясностью свидетельствует, например, одно из его писем 1845 года к дочери Анне. Дочь родилась и выросла в Германии, где с 1822 года служил Тютчев. Теперь, в 1845 году, шестнадцатилетняя Анна должна была впервые увидеть Россию, куда незадолго до того возвратился наконец сам Тютчев. И вот отец пишет ей о России, с которой сам был разлучен (не считая четырех кратких отпусков) двадцать с лишним лет... Пишет, выражая то понимание и переживание родины, которое в основе своей могло сложиться у него только в юности, до его отъезда в Германию: «Ты найдешь в России больше любви, нежели где бы то ни было в другом месте. До сих пор ты знала страну, к которой принадлежишь, лишь по отзывам иностранцев. Впоследствии ты поймешь, почему их отзывы, особенно в наши дни, заслуживают малого доверия. И когда потом ты сама будешь в состоянии постичь всё величие этой страны и всё доброе в ее народе, ты будешь горда и счастлива, что родилась русской».

Обо всём этом важно, даже необходимо сказать в самом начале книги о поэте, ибо слишком широко распространены совершенно беспочвенные и даже попросту нелепые представления, из-за которых Тютчев является в глазах множества людей, в том числе и его ревностных почитателей, чуть ли не в облике некоего «иностранца», далекого от коренной русской жизни. Мы еще не раз вернемся к этой теме.

А теперь взглянем в тютчевский Овстуг. Даже по очень скудным дошедшим до нас сведениям можно представить себе нарастающее с годами богатство впечатлений, формировавших здесь, в Овстуге, душу и разум поэта.

Вначале, в первые годы, – это малый, скромный, но всё же по-своему неисчерпаемый мир самой усадьбы. «Старинный садик, – вспоминал позднее Тютчев, – четыре больших липы,

хорошо известных в округе, довольно хилая аллея шагов в сто длиною и казавшаяся мне неизмеримой, весь прекрасный мир моего детства, столь населенный и столь многообразный, – всё это помещается на участке в несколько квадратных сажен...»

Постепенно этот мир расширялся за ограду усадьбы. Через много лет Тютчев провел дочь Дарью как бы по второму кругу (уже за усадебной оградой) своего детского мира, и она рассказала об этом в письме к сестре: «Мы отправились вместе, папа и я, сперва на могилу дедушки, затем в рощи, с которыми связано... столько детских воспоминаний; он рассказал мне, что однажды, когда он со своим наставником гулял в роще рядом с кладбищем, они нашли мертвую горлицу в траве и похоронили ее, а папа написал эпитафию в стихах... Папа приходил после заката солнца собирать душистый чудоцвет в тишине и темноте ночи, и это вызывало в нем неопределенное ощущение таинственности и благоговения... Эти перелески, этот сад, эти аллеи были целым миром... и миром полным; тут пробудился ум, и детское воображение в этой реальности видело свой идеал».

Тютчевы владели только частью большого села Овстуг. Рядом с домом – скромная церковь и колокольня. Со всех сторон дом окружал сад с вековыми липами и густой сиренью, которую не раз радостно поминал Тютчев, не забывая и овстугских соловьев. Перед домом – цветочные клумбы и ряд тоже памятных, выросших при нем тополей.

Тютчев особенно дорожил видом с овстугского балкона, видом, как он позднее писал, «на эту воронку из зелени... на деревья, церковь, крыши, наконец, весь горизонт». Дом стоял на возвышенном месте, и горизонт был довольно широк, хотя Тютчев и сожалел о его «ограниченности».

Но с балкона всё же открывались усадебные окрестности – одно из полных неповторимого обаяния воплощений среднерусского ландшафта. Само село Овстуг широко раскинулось на восьми холмах, местами покрытых березовыми рощами. Между холмами течет впадающая в Десну небольшая, но поразительно быстрая речка Овстуженка; скорость ее течения столь велика, что она замерзает лишь при температуре двадцать градусов ниже нуля. Дом Тютчевых стоял всего в нескольких десятках метров от речки. У ее берега и сейчас возвышается поистине уникальный, могучий тополь, знакомый поэту; ствол этого исполина могут обхватить только шесть человек. Рядом с тополем – старинный колодезь, из которого брали воду Тютчевы.

Селение как бы несколькими ступенями спускается к северу, к замечательной по своей живописности долине Десны. А на запад, юг и восток от Овстуга – просторы полей, в которые вкраплены кое-где густые рощи и овражки. Вокруг Овстуга – многочисленные села, деревни, хутора. В трех километрах к востоку – Речица, также принадлежавшая Тютчевым; здесь жил дед поэта, выделивший сыну усадьбу в Овстуге. Селения Дорогинь, Молотино, Песочное, Суздальцево, Дятковичи, Гостиловка, Летошники, Умысличи, Вщиж – это ближайшие окрестности Овстуга; их названия подчас стоят под стихотворениями в автографах поэта, упоминаются в его письмах.

В Овстуге перед поэтом предстала, конечно, не только родная земля, но и живущий на ней и ею народ. Тютчевы принадлежали к тем дворянским семьям, которые постоянно стремились сохранять и укреплять патриархальные связи с крестьянами. Так, до нас дошли многочисленные документы, свидетельствующие о том, что все члены семьи Тютчевых крестили многих детей своих крестьян, то есть становились их крестными отцами и матерями, исполнявшими так или иначе родственные обязанности. Немало таких крестных детей было и у самого поэта. Архивист Г. В. Чагин разыскал недавно еще одну церковную запись о том, что Федя Тютчев вместе с дворовой девицей Катюшей Кругликовой (выступавшей в качестве крестной матери) крестил сына одного из крепостных.

Дочь поэта Дарья рассказывала в письме к сестре Анне о народном праздновании заветного Яблочного Спаса в Овстуге. Рассказ этот относится к 1850-м годам, но не может быть

никаких сомнений, что в таких же или, вернее, еще более патриархальных сценах народных праздников Тютчев участвовал с самого раннего детства.

«Расскажу тебе этот великий день, – писала родившаяся и выросшая в Германии Дарья, впервые тогда увидевшая народный праздник в Овстуге. – Крестьянки были счастливы как дети. Вечером они все пришли танцевать и петь... Они импровизировали песни, сопровождавшие пляски и славившие папу и маму, да еще и в стихах! Вот образец, который я, быть может, плохо передаю, но именно так его запомнила:

На дубе сидят два голубка,
Целуются, милуются.
Один – Фёдор Иванович,
Другой – Эрнестина Фёдоровна».

Через несколько лет Тютчев снова участвует в праздновании Яблочного Спаса в Овстуге, и Дарья вновь повествует об этом в письме к Анне: «Крестьяне, все более или менее пьяные, кидались на шею папы и рассказывали ему о своих жалобах».

Такие подробности – пусть сами по себе не очень значительные – важны потому, что опровергают достаточно широко распространенные ложные представления, согласно которым Тютчев, сказавший высочайшие слова о русском народе, в реальной жизни будто бы чуть ли не чурался «мужиков». Та же Дарья сообщала, что во время Крымской войны Тютчев пригласил в свой кабинет крепостного ратника, собиравшегося в Севастополь, и сердечно беседовал с ним – братом овстугского повара.

Ясно, что такие отношения складывались с детских и отроческих лет поэта, когда – это легко предположить – отец Тютчева в присутствии сына беседовал с крестьянами, участвовавшими в Отечественной войне 1812 года...

Представление о Тютчеве как о человеке, далеком от народа, возникло давно, при его жизни. Многим казалось, что поэт, который прожил долгие годы за границей, а в Петербурге бывал главным образом в великосветских салонах (о глубоких причинах этого еще пойдет речь), не знает и, уж конечно, не ценит «простонародную», крестьянскую жизнь. Но вот поистине замечательный – изумленный – рассказ Льва Толстого о первой встрече с поэтом: «Меня поразило, как он, всю жизнь вращавшийся в придворных сферах, говоривший и писавший по-французски свободнее, чем по-русски, выражая мне свое одобрение по поводу моих севастопольских рассказов, особенно оценил какое-то выражение солдат; и эта чуткость к русскому языку меня в нем удивила чрезвычайно».

Подобное изумление испытал при встрече с Тютчевым не один Толстой. Поэт Аполлон Майков писал о нем: «Поди ведь, кажется, европеец был, всю юность скитался за границей в секретарях посольства, а как чуял русский дух и владел до тонкости русским языком!...»

Естественное и глубокое владение языком народа со всей силой воплотилось в самом поэтическом творчестве Тютчева; за последние годы появилось несколько исследований, так или иначе доказывающих это. Однако и до сих пор многие читатели – даже и из тех, кто старается пристально и серьезно вглядываться в облик Тютчева, – видят его всё же именно таким, каким при первой встрече, подчиняясь расхожему мнению, представлял его себе Лев Толстой. Следует оговорить, что это касается именно и только первой встречи; Толстой, по собственному его свидетельству, встречался с Тютчевым многократно и, кроме того, постоянно и очень напряженно вживался в творения поэта. И о последней своей встрече с Тютчевым в 1871 году Толстой рассказывал так: «Что ни час вспоминаю этого величественного и простого и такого глубокого настояще-умного старика». Здесь уже нет и намека на «придворность» и французское красноречие Тютчева... Речь идет о поздних годах жизни поэта. Но едва ли можно спо-

ритель с тем, что основы личности закладываются на ранних этапах ее становления и не возникают позднее заново на пустом месте, а как бы воскресают в каждом возрасте человека.

Толстой в другом письме сказал об этой же последней встрече с поэтом: «Мы четыре часа проговорили. Я больше слушал... Это гениальный, величавый и дитя старик». Ясно, что детские черты в облике старика способны вызвать восхищение лишь в том случае, если в них воскресает подлинно человеческое детство. Между прочим, можно с полным правом сказать, что поэзия Тютчева на самых разных стадиях развития словно совмещала в себе непосредственность детского воображения и исполненную последней, высшей мудрости зрелость, – совмещала гармонически и плодотворно. Но это, конечно, должно было быть присуще и самой личности поэта.

И то, что восхищало Толстого и других в зрелом и старческом облике Тютчева, не могло не закладываться в детские и отроческие годы. Да, поэт провел большую часть своей взрослой жизни в придворных салонах и на дипломатических раутах, – что имело свои очень серьезные причины. Но, при всей скудности документальных сведений, которыми мы располагаем, невозможно сомневаться в том, что у Тютчева была и другая достаточно богатая жизнь. Когда он написал по пути в Овстуг, в городке Рославль:

Эти бедные селенья... —

в его словах выражался не мимолетный взгляд путешественника, торопящегося из одной столицы в другую (а именно таким многие представляют себе Тютчева), но глубокий выстраданный опыт целой жизни – жизни, начавшейся в Овстуге, в постоянном живом общении с крестьянами.

С одним из этих крестьян, отпущенным владельцем на волю и поступившим на службу к Тютчевым в качестве традиционного «дядьки», Фёдор буквально не расставался с четырех до двадцати двух лет. Его звали Николай Афанасьевич Хлопов. Уже в самом конце жизни, через сорок с лишним лет после смерти Н. А. Хлопова, Тютчев засвидетельствовал в письме к своему брату Николаю, что по-прежнему живет в его душе «память о... страстных отношениях во время оно к давно минувшему Николаю Афанасьевичу».

Незадолго до кончины Н. А. Хлопов (1770–1826) завещал своему воспитаннику икону, которую Тютчев хранил до последних дней жизни. На иконе есть надпись: «В память моей искренней любви и усердия к моему другу Фёдору Ивановичу Тютчеву. Сей образ по смерти моей принадлежит ему. Подписано 1826 марта 5-го. Николай Хлопов».

Иван Аксаков сказал, что эта надпись «характеризует и самого Тютчева, которого слуга, бывший крепостной, его дядька и повар, называет своим другом, и ту эпоху, когда типы, подобные Хлопову, были нередки. Благодаря им, этим высоким нравственным личностям, возникавшим среди и вопреки безнравственности исторического социального строя, – даже в чудовищную область крепостных отношений проступали... лучи всеоблагораживающей, всевозвышающей любви (уже приводились слова из письма Тютчева к дочери Анне: “Ты найдешь в России больше любви, нежели где бы то ни было в другом месте”. – В. К.)... Николай Афанасьевич вполне напоминает знаменитую няню Пушкина, воспетую и самим поэтом, и Дельвигом, и Языковым. Этим няням и дядькам должно быть отведено почетное место в истории русской словесности. В их нравственном воздействии на своих питомцев следует, по крайней мере отчасти, искать объяснение: каким образом в конце прошлого и в первой половине нынешнего (то есть XIX. – В. К.) столетия в наше оторванное от народа общество... пробирались иногда, неслышно и незаметно, струи чистейшего народного духа...».

Нельзя не задуматься и над тем, что поистине душевные взаимоотношения Тютчева с Николаем Афанасьевичем не могли не влиять на его отношение и к народу вообще, и к любому представителю народа. Трудно, скажем, переоценить тот факт, что первым другом своей юно-

сти Тютчев избрал студента Московского университета Михаила Погодина, который всего за десяток с небольшим лет до того был крепостным (отец Погодина в 1806 году выкупил себя и сына на волю). Эта дружба потомка древнего боярского рода не с кем-нибудь, а с недавним крепостным (продолжавшим к тому же занимать зависимое положение домашнего учителя у князей Трубецких) говорит о многом.

В 1855 году Тютчев создал в окрестностях Овстуга свое знаменитое стихотворение о «крае русского народа»:

...Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной...

Нет сомнения, что Тютчев заметил и понял это «тайное свечение» еще в самые юные годы и именно в Овстуге.

Здесь же, в Овстуге, перед юным Тютчевым – вместе с родной природой и народом – глубоко раскрылась и реальность родной истории, которая значила для поэта необычайно, исключительно много.

Всего в четырех верстах к западу от Овстуга, на высоком холме над Десной сохранились следы древнерусского города Вщижа. Город этот, существовавший уже в девятом столетии, с середины XI века стал столицей самостоятельного Вщижского княжества. В летописях сохранились сведения о долгих междоусобных битвах за этот город во второй половине XII века, о пирах и свадьбах в его детинце, окруженном внушительными крепостными валами. Весной 1238 года Вщиж был до основания разрушен и сожжен полчищами Батыя, охваченными яростью после только что закончившейся страшной для них осады Козельска (расположенного в 150 верстах к северо-востоку от Вщижа). Он уже больше не восстановился в качестве города. Но небольшое селение Вщиж существует и поныне.

Тютчевы состояли в добрых отношениях с владельцем Вщижа М. Н. Зиновьевым, а позднее – с его дочерью В. М. Фоминой. Поэт бывал во Вщиже с детства, а в последний его приезд на родину в 1871 году посещение Вщижа отозвалось одним из самых сильных тютчевских стихотворений (в первой публикации оно названо «По дороге во Вщиж»):

От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана, видимых поднесь...

Словом, Вщиж как бы прошел сквозь всю жизнь поэта. И Тютчев не мог не знать по-своему замечательного историографического эпизода, связанного со Вщижем. В 1816 году вышли в свет первые тома вызвавшей всеобщий страстный интерес «Истории государства Российского» Карамзина, где рассказывалось и о Вщиже, рассказывалось по летописным источникам как об одном из древнейших русских городов, чье местонахождение ныне неизвестно. М. Н. Зиновьев отправил Карамзину письмо, в котором сообщал: «В здешней стороне есть предание, что село Вщиж было городом особенного удельного княжения. Еще донныне в окрестности видны следы земляных укреплений и находятся большие гранитные кресты (на курганах), весьма не худо выделанные... На полях много курганов; один из них в самом селе и наполнен старинными кирпичами: сказывают, что тут была церковь. Выкапывают также немало медных крестов, икон, железной конской сбруи и прочее».

Вскоре появилось новое издание «Истории» Карамзина, и в примечаниях было приведено цитируемое письмо Зиновьева, давшее историку возможность установить местонахождение Вщижа и самого Вщижского княжества. Нельзя сомневаться в том, что юный Тютчев знал все подробности этого, быть может, небольшого, но очень многозначительного – особенно для жителей вщижской округи – историографического события. Такие события позволяют с особенной остротой и жизненностью воспринять Историю. По-иному виделись теперь сами следы давних времен близ родного Овстуга.

Через много лет Тютчев скажет: «Нет ничего более человеческого в человеке, чем потребность связывать прошлое с настоящим». Эта мысль очередной раз вспыхнет в нем во время краткого пребывания около Новгорода, в Старой Руссе: «Весь этот край, омываемый Волховом, – пишет он отсюда дочери Анне, – это начало России... Среди этих беспредельных, бескрайних величавых просторов, среди обилия широко разливающихся вод, охватывающих и соединяющих весь этот необъятный край, ощущаешь, что именно здесь – колыбель Исполина». Такого рода «ощущения» созревают в человеке с юных лет, и Тютчев, несомненно, приобщался к ним еще в Овстуге.

Присущее Тютчеву глубокое и острое чувство Истории пробудилось в ранние годы еще и потому, что чувство это находило мощную живую опору в родовом, семейном предании. Прямым предком поэта был один из самых выдающихся героев Куликовской битвы, Захарий Тютчев.

В знаменитом «Сказании о Мамаевом побоище» (XV век) читаем: «...Князь же великий Дмитрий Иванович избранного своего юношу, до-волна сущи разумом и смыслом, именем Захарию Тютышова... посылает... к нечестивому царю Мамаю». Захарий Тютчев сыграл роль, как бы сказали теперь, тонкого дипломата и смелого разведчика. Он узнал и сообщил Дмитрию Ивановичу о готовящемся союзе Мамаю с Рязанью и Литвой. Поведение Тютчева в ходе исполнения его посольской миссии призвано было внушить Мамаю, что русские убеждены в своей победе – и тем самым подорвать уверенность врага. Значение тютчевского посольства было оценено современниками и ближайшими потомками столь высоко, что подробное повествование об этом посольстве не только вошло в письменное «Сказание о Мамаевом побоище», но и стало основой устного, фольклорного предания «Про Мамаю безбожного» (оно было записано в середине XIX века в Архангельской губернии).

Рассказ о подвиге Захария Тютчева передавался из поколения в поколение в самом роду Тютчевых. Но, конечно, особенно сильное впечатление должны были произвести на юного Фёдора страницы, посвященные его предку в «Истории государства Российского» Карамзина (когда вышли в свет первые тома «Истории», Фёдору было тринадцать лет). Не могла не волновать его и сама Куликовская битва, свершившаяся в таких же среднерусских местах восточнее Овстуга.

Развалины древнего Вщижа и память о предке, герое Куликовской битвы, сразу создавали осязаемую глубину Истории. Жизнь Вщижского княжества была оборвана монгольским нашествием, а началась она, эта жизнь, примерно за полтысячелетия до Куликовской битвы, еще во времена борьбы с хазарами, о которых повествовал в первом томе своей «Истории» Карамзин. А время, протекшее после Куликовской битвы, также близилось уже к полутысячелетию (которое торжественно отмечалось вскоре после кончины Тютчева). И это чувство тысячелетней глубины родной Истории, чувство, безмерно обогащенное в зрелые годы поэта проникновенным историческим самосознанием, включавшим в себя осмысление пути развития всего человечества, – чувство это пробудилось в Тютчеве, несомненно, еще в его овстугские годы.

Обращение к родословной Тютчева необходимо – даже если бы среди предков поэта и не числилось столь выдающегося человека, как Захарий Тютчев. Родовые и семейные связи и предания имели в тютчевские времена громадное значение; сейчас нам даже нелегко предста-

вить себе всю их роль в тогдашней судьбе людей. Именно через эти связи и предания человек вплетался в историческую жизнь своей родины: сами понятия «род» и «родина» еще всецело сохраняли свое единство.

Память о герое Куликовской битвы Захарии свято хранили в роду Тютчевых; само его имя, не столь уж распространенное в дворянской среде, повторялось в поколениях рода. Так, Захарием Тютчевым звали двоюродного деда поэта.

Потомки Захария не стяжали столь же громкой славы. Известно, правда, что внук его Борис Матвеевич был воеводой при Иване III и играл важную роль в нескольких походах. Отмечен на страницах истории и прапрадед поэта Даниил Васильевич, отличившийся в Крымском походе 1687 года.

Прадед поэта, Андрей Данилович, родившийся в 1688 году, был петровским офицером и вышел в отставку сразу после смерти Петра I, в 1726 году, в чине капитана; о нем нам известно немного. Больше сведений сохранилось о его сыне, деде поэта Николае Андреевиче (точная дата его рождения неизвестна; по-видимому, он родился в конце 1720-х годов). Это был поистине неукротимый, «неистовый» человек. Таких людей в послепетровской России было множество, и они в точном смысле слова типичны для середины XVIII века. Их черты ярко запечатлены в фонвизинских «Недоросле» и «Бригадире», а позднее нашли наиболее полное и пластическое воплощение в образах «Семейной хроники» Сергея Аксакова – особенно в образе Михайлы Куролесова; сама эта фамилия, в соответствии с литературной традицией XVIII столетия, призвана высказать главное в характере.

И, как ни кажется странным, дед утонченнейшего поэта и мыслителя Фёдора Ивановича Тютчева, скончавшийся всего лишь за шесть лет до рождения внука, был настоящим «Куролесовым». Само широкое распространение подобных характеров в русском дворянстве середины XVIII века объяснялось прежде всего тем, что складывавшийся веками древнерусский образ жизни, традиционные каноны поведения и сознания были за время Петровских реформ во многом разрушены, а новая культура человеческих отношений и понятий только еще формировалась.

Иван Аксаков писал, что «в половине XVIII века... помещики Тютчевы славились лишь разгулом и произволом, доходившим до неистовства». Начать с того, что Николай Андреевич Тютчев в молодости был в любовной связи с Дарьей Салтыковой – чудовищной изуверкой, вошедшей в предание под именем Салтычихи. Они были дальними родственниками (мать Салтычихи – урожденная Тютчева), и их подмосковные имения соседствовали.

Очевидно, Салтычиха оказалась неприемлемой даже для неистового Николая Андреевича. Он порвал отношения с ней и в 1762 году женился на брянской дворянке Пелагее Денисьевне Панютиной. Известно, что Салтычиха и после женитьбы Тютчева продолжала жестоко «мстить» ему за «измену», так что он вынужден был «бежать» из Подмоскovie в Овстуг. Но в конце концов известия о неслыханных истязаниях, которым Салтычиха подвергала своих крепостных – главным образом женщин и девушек, – дошли до правительства, и она была предана суду, приговорившему ее к смертной казни. Либеральная Екатерина II, гордившаяся тем, что в России в ее царствование нет казней (исключение, впрочем, было всё-таки позднее сделано для Пугачева и пяти его соратников), повелела подвергнуть Салтычиху пожизненному заключению в монастырской тюрьме, где она и провела в подземной камере Ивановского монастыря (кстати сказать, в двух шагах от московского дома Тютчевых) тридцать три года. Ее конфискованное имение Троицкое по Калужской дороге (ныне – в километре за Московской кольцевой дорогой) в конце концов было куплено Николаем Тютчевым.

Конечно, не следует хоть в какой-то мере сблизать Николая Андреевича Тютчева с садисткой Салтычихой. Но самая связь его с этой фурией едва ли случайна...

Своего рода «оправданием» тютчевских неистовств может быть лишь то, что, как уже говорилось, подобный «разгул» был прямо-таки типичен для того времени. Пушкин расска-

зывает о своем деде Льве Александровиче Пушкине: «Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, которого он весьма феодально повесил на черном дворе...»

и т. д. Исследователи оспаривают достоверность некоторых сообщаемых Пушкиным фактов, но здесь важна, так сказать, сама атмосфера.

Стоит отметить, что неистовый дед Тютчева Николай Андреевич не только был исправным офицером, но и, выйдя в отставку в чине полковника, избирался предводителем брянского дворянства...

У Николая Андреевича была большая семья; нам известны четверо его сыновей и три дочери. Облик его старшей дочери Анастасии сохранил для нас портрет работы выдающегося живописца Рокотова. Младшая дочь Надежда на склоне лет была ближайшим другом Гоголя. А старший сын Иван, родившийся в 1768 году, стал отцом одного из величайших творцов мировой поэзии. Поразительный контраст в судьбах деда и внука побуждает задуматься о почти невероятных, таинственных путях развития русских людей на рубеже XVIII–XIX веков. Может быть, нам удастся в дальнейшем повествовании понять, что дедовское «неистовство» жило и во внуке, но чудесно преобразилось в творческую волю (не только в поэзии, но и в самой жизни)...

Отец поэта, Иван Николаевич, уже очень мало походил на деда (как, кстати, и отец Пушкина на своего отца). По желанию Николая Андреевича он поступил в новое, только что основанное Екатериной II в Петербурге военное учебное заведение – Греческий корпус. Это был совершенно особенный, можно сказать, политический корпус. Его питомцы призваны были способствовать осуществлению идеи возрождения греко-православного мира – идеи, возникшей на почве победоносных войн с Турцией, но, разумеется, утопической. Речь шла об освобождении захваченного триста с лишним лет назад турками Константинополя и воссоздании (в единстве с Россией) православной греческой государственности; достаточно вспомнить, что одного из внуков Екатерины по ее настоянию называли Константином; он был как бы призван воскресить древнюю столицу Византии.

Через много лет Фёдор Тютчев писал о Константинополе:

...То, что орел Екатерины
Уж прикрывал своим крылом...

«Константинопольскую утопию» Фёдор, несомненно, воспринял еще в отроческие годы от отца, воспитанника Греческого корпуса.

Иван Николаевич Тютчев, словно по контрасту со своим «неистовым» отцом, отличался, как свидетельствуют семейные предания, «необыкновенным благодушием, мягкостью, редкою чистотою нравов» и пользовался всеобщим уважением. Хотя все его ближайшие предки были военными, Иван Николаевич, дослужившись в гвардейском полку всего лишь до чина поручика (примерно соответствует нынешнему старшему лейтенанту), сразу после смерти Николая Андреевича перешел на гражданскую службу. Здесь его «карьера» была успешнее; он дослужился до чина надворного советника (соответствует подполковнику). В последние годы своей службы он стал смотрителем «Экспедиции Кремлевского строения», что, надо думать, подразумевало достаточно широкую образованность.

Сохранилось немало свидетельств глубокого уважения и любви поэта к отцу. Самое раннее из них – отроческое стихотворение, написанное десятилетним Фёдором ко дню рождения Ивана Николаевича:

...Вот что сердце мне сказала:

В объятых счастливой семьи
Нежнейший муж, отец-благотворитель,
Друг истинный добра и бедных покровитель,
Да в мире протекут драгие дни твои!

Мальчик явно сумел обрисовать здесь истинный характер своего отца – мирного, доброго, «тихого» человека. Ровно через тридцать лет Тютчев в письме к жене восхищенно отзовется об отце – «лучше которого, право, нет человека на свете...».

Давно сложилось мнение, что решающее значение в становлении поэта имел не отец, а мать, которую Иван Аксаков описал как «женщину замечательного ума, сухощавого, нервного сложения, с склонностью к ипохондрии, с фантазией, развитою до болезненности». Но едва ли следует недооценивать сложную внутреннюю закономерность человеческого развития, проступающую в фигуре отца поэта, – как своего рода звена между дедом и внуком. Неистовству деда, в жизни которого разрушенные формы старорусского бытия еще не возместил новый строй поведения и сознания, как бы противопоставилось уравновешенное, мирное существование отца (та же закономерность – в истории семей Пушкина и Аксакова), чтобы внук мог плодотворно воплотить свой жизненный порыв, страсть и волю.

В сравнении с дедом, отец Тютчева не только ушел «вперед», к новым, связанным с «европеизацией» России формам быта, культуры и сознания, но и в известном смысле вернулся «назад», как бы восстановив, – разумеется, лишь в той или иной мере – традиционный, патриархальный порядок в отношениях с супругой, домочадцами и крестьянами. Это явствует из многих свидетельств. М. П. Погодин, хорошо знавший семью поэта, записал в своем дневнике в 1820 году: «Смотря на Тютчевых, думал о семейственном счастье. Если бы все жили так просто, как они».

Семейные предания свидетельствуют, что в доме Тютчевых «господство французской речи не исключало... приверженности к русским обычаям и удивительным образом уживалось рядом с церковнославянским чтением псалтырей, часословов, молитвенников... и вообще со всеми особенностями русского православного быта...».

Выше говорилось об очень раннем и органическом приобщении поэта к родной природе, народу, истории; нет сомнения, что семья сыграла свою необходимую и первостепенную роль в этом приобщении. Семья Тютчевых принадлежала к тем многим тысячам русских семей, в среде которых на рубеже XVIII–XIX веков формировался особенный социальный слой «среднего дворянства». Еще Белинский обрисовал характерные черты этого слоя. «Екатерина II, – писал он в 1844 году, – жалованною грамотою определила в 1785 году права и обязанности дворянства... Вследствие нравственного движения, сообщенного грамотою 1785 года, за вельможеством начал возникать класс среднего дворянства... В царствование Александра Благословенного значение этого, во всех отношениях лучшего, сословия всё увеличивалось и увеличивалось, потому что образование всё более и более проникало во все углы огромной провинции, усеянной помещичьими владениями. Таким образом формировалось общество, для которого благородные наслаждения бытия становились уже потребностью, как признак возникающей духовной жизни».

Так рождались те очаги культурного бытия, которые впоследствии, по тургеневскому слову, назвались «дворянскими гнездами». Одним из ранних таких гнезд был тютчевский Овстуг.

Иван Аксаков утверждал, что «дом Тютчевых – открытый, гостеприимный, охотно посещаемый многочисленной родней... – был совершенно чужд интересам литературным, и в особенности русской литературы». Последнее суждение едва ли верно. У нас есть, например, документальное свидетельство того же Погодина: «25 августа 1820 года. Разговаривал с Тютчевым и

его родителями о литературе, о Карамзине, о Гёте, о Жуковском (с которым, как нам известно, отец Тютчева был в близких отношениях. – В. К.), об университете».

Однако суть дела даже и не в этом. «Литературные интересы», в конце концов, дело наживное. Гораздо более важное значение имел целостный нравственно-духовный строй самой жизни семьи Тютчевых. Из всего, что мы знаем об этой семье, вырисовываются лучшие черты русского дворянства начала XIX века, столь хорошо знакомые всем по «Войне и миру». Жизнь в овстугской усадьбе естественно, сама собой раскрывала перед мальчиком и юношей Тютчевым заветные глубины русской природы, народа, истории, – создавая тем самым незыблемую основу личности поэта.

Одно из писем к жене Тютчев начал словами: «Сегодня годовщина Полтавской битвы», – и, как бы спохватившись, что он просто выговорил звучащие в этот день в глубине души слова, продолжал так: «...но в настоящую минуту не в том дело... Мое здоровье лучше. Ноги начинают опять ходить». Столь личное переживание истории, надо думать, могло сложиться только в том случае, если оно прививалось с детских лет.

По материнской линии Тютчев был связан с выдающимся дипломатом Петровской эпохи – графом Андреем Ивановичем Остерманом (1686–1747). Дальний родственник Екатерины Львовны Матвей Андреевич Толстой женился на дочери А. И. Остермана Анне Андреевне. А впоследствии, теснее скрепляя родственную связь, сестра отца Екатерины Львовны Анна Васильевна вышла замуж за сына того же Остермана, Фёдора Андреевича. Брак этот был бездетным, а мать Екатерины Львовны скончалась безвременно, оставив сиротами одиннадцать своих детей. И в результате Екатерина Львовна жила и воспитывалась в доме своей бездетной тетки, Анны Васильевны Остерман. В этом доме бывал брат Фёдора Остермана Иван, президент Коллегии иностранных дел, а также внучатый племянник хозяйки, Александр Иванович Остерман-Толстой⁵ – впоследствии – один из славнейших полководцев Отечественной войны 1812 года, герой Бородина и Кульма. Он сыграл большую роль в судьбе Тютчева, о чем еще пойдет речь в своем месте.

Родственные связи с выдающимися деятелями отечественной истории органически вплелись в жизнь «дворянских гнезд» и как бы открывали настежь двери в эту историю, делали ее неотъемлемой частью, звеном, стороной семейного бытия.

Фёдор Тютчев был вторым ребенком в семье. Брат его Николай родился двумя годами раньше, а в 1806 году родилась сестра поэта Дарья. У Тютчевых было еще трое сыновей – Сергей, Дмитрий и Василий, но они умерли в самом раннем возрасте. Высокая детская смертность была в то время обычным, неизбежным явлением. В одном из тютчевских стихотворений упомянут «брат меньшой, умерший в пеленах». Речь идет, по-видимому, о Васе, родившемся в 1811 году и умершем, как сказали бы теперь, в трудных условиях эвакуации, в Ярославле 1812 года.

Но в течение определенного времени в семье Тютчевых было шестеро детей, так что Фёдор вырастал в обычном для того времени семейном многолюдье. Кроме того, у Тютчевых жили родственные или дружественные семьи со своими многочисленными детьми. Словом, будущий поэт начинал жизненный путь в условиях семейной детской общины. И это создавало особую атмосферу детства и отрочества, определявшую цельность восприятия жизни.

Глубоко неверно было бы думать, что окрестности Овстуга во времена детства и юности Тютчева являли собой некое темное захолустье. Становление того «среднего дворянства», о котором с таким уважением писал Белинский, быстрыми шагами шло и в этих местах. Уже говорилось о владельце Вщижа М. Н. Зиновьеве, вступившем в переписку с Карамзиным, и

⁵ А. И. Остерман-Толстой – внук Матвея Андреевича Толстого и Анны Андреевны Остерман; так как род Остерманов по мужской линии прервался, Александру Ивановичу было разрешено зваться двойным именем (дабы сохранить прославленную фамилию).

его дочери В. М. Фоминой, с детства знакомых Тютчеву. Другой овстугский сосед Тютчевых, владелец села Суздальцева С. Ф. Яковлев написал трактат о проблемах политической экономики, изданный в Москве в 1853 году. Наконец, живший в тридцати верстах от Овстуга, в селе Дятково, С. И. Мальцов был одним из самых выдающихся русских людей своего времени.

В Большой советской энциклопедии можно прочитать краткую информацию: «Сергей Иванович Мальцов (1810–1893) превратил брянский заводской округ в центр машиностроения. Здесь были изготовлены первые в России рельсы, паровозы, пароходы, винтовые двигатели и пр.».

Представитель одной из виднейших купеческих (позднее возведенных в дворянство) семей, подобной семье Строгановых или Демидовых, С. И. Мальцов начал свой жизненный путь блестящим гвардейским офицером. Но затем он круто изменил жизнь и, поселившись в своем брянском имении, занялся созданием высокоразвитой отечественной промышленности.

Современный исследователь брянского края Г. В. Метельский говорит о Мальцове: «Это был странный, одержимый человек... Его называли маньяком, деспотом, самодуром, социалистом. О нем писали, что он, как простой мужик, забился в деревню, живет с рабочими и кормится с ними из одного котла, что он сам клал шпалы, рельсы, рубил и свозил лес для своей, Мальцовской железной дороги, тянувшейся через вотчину... двести четыре версты... У Мальцова была своя телефонно-телеграфная сеть, свои шлюзы, сделавшие судоходной обмелевшую Болву на расстоянии ста с лишним верст, свои бумажные деньги, свои пароходы, бегавшие не только по Болве, но и по всем водным путям России... свои школы, богадельни и церкви...»

Ни один из его заводов не зависел от границы. Тут всё было свое, русское... Инженеру, приехавшему из Англии посмотреть на «Мальцовское чудо», дали английский напильник и мальцовскую сталь; напильник стерся, а сталь осталась целой». Да, в «мальцовской вотчине», на двадцати двух ее заводах осуществлялся весь промышленный цикл – от добычи сырья до создания точных приборов. Здесь же был произведен первый русский цемент. Квалифицированных мастеров готовили пятилетние мальцовские училища.

Для трудных работ был установлен – впервые в истории мировой промышленности – восьмичасовой рабочий день. Рабочие жили в каменных домиках городского типа с усадебной землей для сада и огорода. Впрочем, о Сергее Ивановиче Мальцове можно и нужно писать отдельную книгу.

Тютчев был знаком с Мальцовыми еще с детских лет. В университетские годы он сблизился с двоюродным братом Сергея Ивановича, И. С. Мальцовым, одним из «любомудров», впоследствии, как и Тютчев, ставшим дипломатом. Не раз Тютчев бывал у С. И. Мальцова в Дяткове, встречался с ним в Петербурге и за границей, обменивался письмами. И, конечно, Мальцов был одним из замечательнейших его земляков.

О той высокой ценности, которой обладал Овстуг в глазах Тютчева, ярко свидетельствует одно его размышление зрелых лет. Поэт был в тесных дружеских отношениях с выдающимся географом, историком, писателем, общественным деятелем Егором Петровичем Ковалевским и его братом Евграфом Петровичем – горным инженером, в 1820-х годах положившим начало освоению Донбасса, а позднее, в конце 50-х – начале 60-х годов, в качестве министра проводившим реформу народного просвещения. И вот как рассказывал Тютчев в письме к жене о своей встрече с Ковалевскими в 1858 году: «Прошное воскресенье я мог себе вообразить, что нахожусь в близком соседстве Овстуга, у нашего приятеля Яковлева или у Веры Михайловны Фоминой, а я был всего в двадцати верстах от Петербурга у министра Ковалевского – в имении, доме и семье точно таких, какие встречаются в глухой русской провинции. Славные люди! Ты бы это оценила...»

Трудно представить себе более лестную характеристику – пусть косвенную – той жизни и тех людей, которые с детства окружали Фёдора Тютчева в Овстуге. Ведь из слов поэта следует, что овстугское бытие является для него своего рода мерилom человеческих ценностей.

Все отмеченные выше стороны овстугского бытия обусловили огромное, поистине неопределимое значение «малой родины» в духовной и душевной жизни Тютчева. Как уже говорилось, судьба поэта сложилась таким образом, что в юности он расстался с Овстугом на четверть века и, вернувшись в родную усадьбу лишь в 1846 году совершенно зрелым человеком, поначалу воспринял родные места даже с какой-то отчужденностью. Поселился Тютчев в Петербурге, и самые разные житейские и служебные обстоятельства постоянно препятствовали его поездкам в родное гнездо. Нельзя не сказать и о трудности пути; до прокладки железных дорог путешествие из Петербурга в Овстуг и обратно занимало полмесяца.

Тем не менее Тютчев хотя бы ненадолго – подчас всего лишь на десяток дней – выбирался в Овстуг через каждые полтора-два года. Он вынужден был прекратить эти регулярные поездки в Овстуг лишь с 1858 года, когда занял ответственный пост председателя Комитета цензуры иностранной.

В Овстуге и его окрестностях Тютчев создал более двух десятков прекраснейших своих творений (здесь следует напомнить о том, что поэтическое наследие Тютчева – особенно если не считать так называемых «стихотворений на случай» – количественно очень невелико). В 1854 году поэт писал жене: «...Когда ты говоришь об Овстуге, прелестном, благоуханном, цветущем, безмятежном и лучезарном, – ах, какие приступы тоски по родине овладевают мною, до какой степени я чувствую себя виновным по отношению к самому себе, по отношению к своему собственному счастью... Но, увы, у меня в данную минуту в кармане нет ни копейки...»

Можно привести немало таких тютчевских высказываний. Через десяток лет, в 1863 году, Тютчев пишет о том же: «Когда ты говоришь об Овстуге, о благе, которое мне принесли бы покой и свежесть, ожидающие меня там, – я совершенно разделяю твое мнение... Но, увы, как добраться до этого рая... Овстуг – непризнанный и столь мною пренебрегаемый. Ах, какое жалкое существо человек, – подобный мне человек!..»

...Видел Полонского... Он в восторге от Овстуга и от своего пребывания у вас и жалеет только, что оно не продлилось недели и месяцы. Слушая его рассказы, я испытывал некоторую, даже большую зависть. В самом деле, я чувствую каждый день как бы тоску по родине, думая об этих местах, которыми я так долго пренебрегал...»

Только в конце жизни Тютчев обрел возможность постоянно навещать Овстуг, и с 1868 года он, вплоть до начала своей предсмертной болезни, приезжал на родину каждое лето.

Быть может, с наибольшей ясностью всё значение Овстуга для Тютчева выразилось в том факте, что Овстуг как бы умер вместе с поэтом. Наследники Тютчева вывезли из усадьбы всё, что представляло в их глазах ценность (вплоть до паркета, сделанного из ценных пород дерева; он настелен в усадьбе Мураново), и бросили свое родовое гнездо на произвол судьбы. Дом поэта пришел в запустение и к началу Первой мировой войны был разобран...

Глава вторая

Москва

*Весенний первый день лазурно-золотой
Так и пылал над праздничной Москвой...*

1873

С самых ранних лет – не позднее чем с 1807 года – Федя Тютчев гостил и жил в Москве. Как уже говорилось, его мать выросла в доме бездетной сестры своего отца Анны Васильевны, жены графа Ф. А. Остермана. В этом доме, расположенном у Покровских ворот, в Малом Трехсвятительском переулке, и останавливались Тютчевы, приезжая из Овстуга в Москву. В 1809 году А. В. Остерман скончалась и завещала свой дом племяннице. Но дом был, по-видимому, тесен для разросшейся семьи, Тютчевы его продали и в конце 1810 года купили другой дом поблизости, в Армянском переулке, между Маросейкой и Мясницкой. Этот дом (сейчас № 11) стал вторым – после овстугского – родным домом поэта. Подрастая, Фёдор Тютчев всё чаще проводил зимние месяцы в Москве.

Следует обратить особое внимание на местоположение дома, в котором поселились Тютчевы. Эта часть города (составлявшая всего лишь одну сотую его тогдашней площади) была подлинным культурным центром Москвы, да и в значительной мере России в целом (позднее, в 1820–1840-х годах, вторым таким центром стал район Арбата).

В этом уголке Москвы, в своего рода ромбе, сторонами которого являются Маросейка, Покровка, Мясницкая, Старая и Новая Басманные, начиная с 1780-х годов селились крупнейшие деятели русской культуры конца XVIII – начала XIX века: Карамзин, Николай Новиков, Иван Дмитриев, поэт и директор Московского университета Херасков, его преемник на этом посту Иван Петрович Тургенев со своими впоследствии знаменитыми сыновьями Александром и Николаем, дипломат и писатель Иван Муравьев-Апостол, отец трех выдающихся декабристов и многие другие. У этих людей постоянно бывали или даже жили не имевшие собственных домов в Москве молодые Жуковский, Батюшков и Мерзляков.

Сеть переулков вокруг расположенных в этой местности Чистых прудов, около Красных ворот и в Басманной слободе была как бы вся пронизана культурными токами. Именно здесь находились и дома, вернее, дворцы виднейших собирателей ценностей культуры; здесь жили сподвижник Ломоносова граф Иван Шувалов, князь Николай Юсупов, создавший знаменитую усадьбу Архангельское, граф Алексей Мусин-Пушкин, который открыл рукописи Лаврентьевской летописи и «Слова о полку Игореве», граф Дмитрий Бутурлин, собравший библиотеку мирового значения (которая, к несчастью, как и собрание Мусина-Пушкина, сгорела в 1812 году), граф Николай Румянцев, чьи сокровища стали позднее основой главной библиотеки страны и Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, и т. д.

Поистине закономерно, что не где-нибудь, а именно в этом московском районе прошло детство и первые отроческие годы Пушкина. В одно время с Тютчевыми вокруг Чистых прудов и Красных ворот жили Веневитиновы и Киреевские (их дом, «привольная республика у Красных ворот», в течение ряда лет был едва ли не главным средоточием московской культурной жизни), Владимир Одоевский и Николай Языков, Грибоедов и Чаадаев, Фёдор Глинка и Иван Козлов. В 1814 году у Красных ворот родился Лермонтов.

Да и хозяин дома, который купили Тютчевы, князь Иван Гагарин, был высокообразованным человеком, постоянно общавшимся с Карамзиным, Дмитриевым, И. П. Тургеневым. Сын Ивана Гагарина, Григорий, учившийся вместе с Жуковским, стал почетным членом знамени-

того литературного общества «Арзамас» (наряду с Карамзиным и Дмитриевым), а впоследствии – видным дипломатом. В 1833 году он был назначен русским посланником в Баварию, где служил тогда Тютчев. Поэт высоко ценил этого, к сожалению недолгого (Г. И. Гагарин скончался в 1837 году), своего начальника.

Внук Ивана Гагарина, названный также – в честь деда – Иваном, станет в 1830-х годах близким другом Тютчева и передаст его стихи для публикации в пушкинский журнал «Современник». Не чужды были Тютчеву и два других внука Гагарина: Григорий, известный художник, иллюстрировавший, в частности, сочинения Пушкина и Лермонтова, в 1860-х годах – вице-президент Академии художеств, и Сергей, впоследствии директор московских театров. Но всё это в будущем; сейчас нам важно увидеть только, как в самом доме Тютчевых завязываются важные узлы грядущей судьбы поэта.

Дом Гагарина, построенный в 1780-х годах по проекту молодого Казакова, достался Тютчевым потому, что в 1810 году старый князь Иван скончался; сыновья его жили в Петербурге, а для оставшихся в Москве дочерей дом был, вероятно, слишком обширен. В семье же Тютчевых к тому времени родилось пятеро детей и уже ожидали шестого. Позднее Тютчевы поселили в своем большом доме родственные семьи и даже сдавали внаем часть помещений.

Гагаринский дом, которым Тютчевы владели двадцать с лишним лет, к счастью, сохранился; в настоящее время завершается его основательная реставрация, благодаря которой он в значительной мере примет вид, присущий ему в тютчевское время (особняк отреставрирован в конце 1980-х – 1990-е. – *Ред.*). Как обитель отрочества и юности Тютчева и как звено в той культурной цепи, которая проходила в 1780–1820-х годах через городское пространство между Маросейкой и Мясницкой, дом этот является ценнейшим московским памятником.

С полной достоверностью известно, что в доме Тютчевых бывали Жуковский, Мерзляков, братья Тургеневы. Но также нет сомнения, что семья Тютчевых, подобно семье Пушкиных, была тесно вплетена в ту цепь московских семей, внутри которой в очень значительной степени сложилась великая культура двадцатых-тридцатых годов XIX века. И Тютчев еще мальчиком, а потом и юношей постоянно соприкасался с сосредоточенными в этом уголке Москвы людьми, зданиями, книгами, произведениями искусства, так или иначе воплощавшими в себе творчество новой русской культуры.

Но Москва была ценна и необходима для будущего поэта не только как средоточие современного культурного творчества. Мы еще со всей ясностью увидим, сколь громадное значение имела в духовной судьбе Тютчева история России, которую он позднее, в зрелые годы, понял как одно из главных, основных русел всемирной истории. И нет сомнения, что изначальная – и потому незыблемая – почва глубочайшего и безгранично широкого исторического сознания, присущего поэту, закладывалась и на знакомых еще с детских лет московских улицах и переулках, до предела насыщенных исторической памятью.

Прямо напротив тютчевского дома, на углу Армянского и Малого Златоустинского переулков находилась усыпальница боярина Артамона Матвеева, одного из крупнейших деятелей XVII века, начальника Посольского приказа. За ней, в глубине переулочка, – Златоустинский монастырь, основанный Иваном III в честь своего святого – Иоанна Златоуста. Дальше проходила стена Китай-города. И если пойти влево вдоль стены, выйдешь к церкви Всех Святых на Кулишках, воздвигнутой на том месте, где войско Дмитрия Донского, в рядах которого был и Захарий Тютчев, прощалось с Москвой, уходя на Куликово поле. Если же идти вдоль стены вправо – окажешься на углу Лубянки и Кузнецкого Моста, у Введенской церкви, на паперти которой в 1611 году был ранен в бою с полчищами Лжедмитрия II князь Пожарский.

Но прогулки совершаются и в другую сторону от дома – к Чистым прудам. Здесь высится Меншикова башня, построенная знаменитейшим сподвижником Петра. Подале, за прудами, – легендарный охотничий дворец Ивана Грозного, а еще дальше, за Садовой, – церковь Никиты Мученика, при которой обитал опасный собеседник грозного царя – Василий Блаженный.

И это только несколько из овеванных еще живыми тогда преданиями исторических памятников, окружавших дом Тютчевых, – памятников, которые поэт не мог не узнать еще в раннем отрочестве. Нельзя не упомянуть и о том, что самый дом Тютчевых в Армянском переулке состоит – как это неопровержимо выяснилось в ходе нынешней его реставрации – из архитектурных напластований трех столетий! Казаков в 1780-х годах воздвигал классицистическое здание по сути дела как надстройку на белокаменных палатах XVI века и кирпичных галереях XVII века. Так что и внутри тютчевского дома всё дышало историей. И трудно сомневаться в том, что мощное и предельно обостренное чувство Истории, определяющее и сознание, и всю деятельность зрелого Тютчева, в немалой степени зависело от прочитанных в отроческие годы страниц каменной книги Москвы.

Наконец, о чем уже говорилось, отец Тютчева в годы отрочества и юности поэта служил смотрителем «Экспедиции Кремлевского строения»; он постоянно брал сына с собой в Кремль и, конечно же, рассказывал ему о великих памятниках отечественной истории, находящихся здесь.

Из многих писем Тютчева известно, что и в зрелые годы, и даже в старости, приезжая в Москву, он каждый раз заново с удивительной силой и остротой воспринимал ее проникнутый Историей лик. В 1843 году он пишет жене из Москвы: «Больше всего мне хотелось бы показать тебе самый город в его огромном разнообразии... Как бы ты почуяла наитием то, что древние называли духом места; он реет над этим величественным нагромождением, таким разнообразным, таким живописным. Нечто мощное и невозмутимое разлито над этим городом».

Сквозь предметы, лица и события современной ему Москвы Тютчев всегда прозревал прошлое. В 1856 году он присутствовал на торжествах по случаю коронации Александра II, когда, по его словам, собралось «в залах Кремлевского дворца не то пятнадцать, не то двадцать тысяч душ», и так рассказывал о своих впечатлениях: «Должен признаться, что всё это движение, весь этот блеск, всё это величественное зрелище и символическая пышность, всё это представляется мне сном... Вот, например, старуха Разумовская и старуха Тизенгаузен (я называю их, потому что они последние, с кем я говорил)... а в двухстах шагах от этих залитых светом зал, переполненных столь современной толпой, там, под сводами, – гробницы Ивана III и Ивана IV. Если можно было бы предположить, что шум и отблеск того, что происходит в Кремле, достиг до них...»

Конечно же, такое переживание Москвы зарождалось в Тютчеве еще в самые ранние годы (в восприятии Тютчева, заключенном в этих письмах, явно сохраняется атмосфера юной непосредственности). И оно, это переживание, безмерно усилилось тем, что История во всём ее грозном величии вторглась в Москву через полтора года после того, как Тютчевы поселились в своем доме в Армянском переулке.

1812 год. Иван Аксаков писал, что Отечественная война не могла не оказать «сильного непосредственного действия на восприимчивую душу девятилетнего мальчика. Напротив, она-то, вероятно, и способствовала, по крайней мере в немалой степени, его преждевременному развитию, – что, впрочем, можно подметить почти во всём детском поколении той эпохи. Не эти ли впечатления детства как в Тютчеве, так и во всех его сверстниках-поэтах (имеются в виду, очевидно, Языков, Хомяков, Шевырёв. – В. К.) зажгли ту упорную, пламенную любовь к России, которая дышит в их поэзии и которую потом уже никакие житейские обстоятельства не были властны угасить?».

Мы не знаем подробностей жизни Тютчева в грозную годину. Иван Аксаков, много лет постоянно общавшийся с поэтом, не без горечи замечает: «Нам никогда не случилось слышать от Тютчева никаких воспоминаний об этой године...» Известно только, что при приближении наполеоновской армии к Москве Тютчевы выехали в Ярославль, – туда же, куда Лев Толстой отправит своих Ростовых. И по всей вероятности, Тютчевы испытали всё то, что с присущим ему проникновенным чутьем воссоздал в своей эпопее Толстой.

Кстати сказать, Тютчев не сообщал «никаких воспоминаний» о своей частной, личной судьбе в 1812 году, по-видимому, не придавая своим отроческим переживаниям всеобщего значения. Но о судьбе России в Двенадцатом году он поведал со всей глубиной и мощью и в стихах, и в своей политико-философской прозе. И написанное им об Отечественной войне ясно свидетельствует, что великое испытание, выпавшее его Родине, было пережито им так цельно, так глубоко лично, как это бывает только при непосредственном восприятии исторических событий.

13 июня 1843 года, на другой день после того, как исполнился тридцать один год с момента вторжения наполеоновских войск в Россию, Тютчев писал своей жене Эрнестине Фёдоровне, предлагая ей прочитать книгу с описанием Москвы, где она еще не бывала («составить себе верное представление о городе, который тридцать один год назад был свидетелем походов Наполеона и моих»). Эта внешне шутливая фраза всё же достаточно убедительно свидетельствует о том, что Тютчев навсегда сохранил в памяти свои «похождения» в Москве 1812 года...

В замечательном тютчевском стихотворении «Неман» (1853), воссоздающем само вторжение Наполеона в Россию, как бы воскресает изначальное, отрочески-потрясенное переживание события 12 июня:

Победно шли его полки,
Знамена весело шумели,
На солнце искрились штыки,
Мосты под пушками гремели —
И с высоты, как некий бог,
Казалось, он парил над ними
И двигал всем и всё стерег
Очами чудными своими...
Лишь одного он не видал...
Не видел он, воитель дивный,
Что там, на стороне противной,
Стоял *Другой* — стоял и ждал...
И мимо проходила рать —
Всё грозно-боевые лица.
И неизбежная Десница
Клала на них свою печать...

И так победно шли полки,
Знамена гордо развевались,
Струились молнией штыки,
И барабаны заливались...
Несметно было их число —
И в этом бесконечном строе
Едва ль десятое чело
Клеймо минуло роковое...⁶

Своего рода мифотворческое видение всемирно-исторической схватки наполеоновской армии и России завязалось, надо думать, еще в отроческом сознании, за тридцать лет до создания стихотворения «Неман». Ибо вообще условием подлинно великого искусства является

⁶ Речь идет о том, что лишь примерно одна десятая наполеоновского войска вернулась обратно из-за Немана.

способность собрать воедино в творческом порыве всю полноту человеческого бытия – от детской, ничем не ограниченной свободы воображения до спокойной, уже как бы отрешенной умудренности старика. В тридцать лет Тютчев уже смог написать:

Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..

Но он же писал, приблизившись к семидесяти годам:

Впросонках слышу я – и не могу
Вообразить такое сочетанье,
А слышу свист полозьев на снегу
И ласточки весенней щебетанье, —

воплощая поистине младенческую цельность и вольность восприятия жизни.

И, всматриваясь в те слова, которые зрелый Тютчев сказал о Двенадцатом годе, можно с полным правом думать о потрясенном отроческом восприятии «роковой години», отзывавшемся и в приведенных стихах 1853 года.

Очень характерно, что, посылая жене стихи о переходе Наполеона через Неман, Тютчев советовал, дабы «их уразуметь... вспомнить картинки, так часто попадающиеся на постоянных дворах и изображающие это событие». Ясно, что лубочное воссоздание этого события как раз и соответствовало отроческому восприятию...

...Пожар, полыхавший без малого неделю, с 3 по 8 сентября 1812 года, уничтожил 7632 из 9151 московского дома. Основная часть города, в пределах Садового кольца, сгорела почти целиком. Но тютчевский дом уцелел. И это не было случайностью. Говоря об уголке Москвы, где поселились Тютчевы, мы пока не коснулись одной его очень существенной особенности. Район между Маросейкой и Мясницкой издавна был пристанищем и иноземных посольств, и русских дипломатов. Еще в XVI веке в самом начале Мясницкой стоял Английский двор, в котором жили и торговали купцы из Лондона. Как уже было упомянуто, прямо против тютчевского дома находился дом начальника Посольского приказа (то есть, по-нынешнему, министра иностранных дел) при Алексее Михайловиче, Артамона Матвеева. В двух шагах отсюда на Маросейке доныне стоит усадьба Николая Румянцева, министра иностранных дел в 1807–1814 годах. По другую сторону Маросейки, в Колпачном переулке, – дом Емельяна Украинцева, начальника Посольского приказа в первые годы царствования Петра Великого; в тютчевские времена в этом доме помещался знаменитый архив Коллегии иностранных дел, где поэт наверняка бывал (здесь, кстати сказать, служили многие его соученики по Московскому университету).

Словом, есть нечто символическое в том, что Тютчев, будущий дипломат, вырос в «посольском» районе Москвы. Но, помимо того, в Армянском переулке завязалась еще одна линия судьбы Тютчева, прошедшая через всю его жизнь. Именно между Маросейкой и Мясницкой с давних времен размещались представительства целого ряда народов, которые впоследствии вошли в состав России. Здесь находилось Малороссийское (Украинское) подворье, как раз и давнее название улице Маросейке (первоначально – Малороссейка); поблизости стоит и поныне дом украинского гетмана Мазепы, перебежавшего накануне Полтавской битвы к Карлу XII. В начале Мясницкой улицы в XVIII веке жил грузинский царь Вахтанг VI, вынужденный покинуть родину из-за персидских и турецких нашествий.

А в ближайшем соседстве с тютчевским домом находилось своего рода представительство армянского народа. В XVII веке Армянский переулочек назывался Артамоновским (по имени жившего здесь, как мы уже не раз упоминали, Артамона Матвеева); в XVIII веке его называли Никольским или Столповым – по стоявшей напротив тютчевского дома церкви Николы в Столпах; в самом конце XVIII – начале XIX века переулочек стал зваться Армянским. Еще в середине XVIII века здесь поселился знаменитый армянский купец и общественный деятель, родоначальник прославленной семьи – Л. Н. Лазарев (Лазарян). Семья Лазаревых, вместе с другими переехавшими из захваченной персами и турками родины в Россию армянскими родами (Абамелеки, Бебутовы, Ахшарумовы, Меликовы, Аргутинские, Деляновы и др.) сыграла громадную роль в присоединении Армении к России, совершившемся в 1828 году. Но и до этого три поколения семьи Лазаревых дали России выдающихся граждан, деятелей промышленности и культуры.

Владения Лазаревых занимали большую часть нынешнего Армянского переулка; еще в 1779 году они построили здесь григорианскую церковь. Тютчевы были не просто ближайшие соседи Лазаревых, но и обрели с ними самую тесную дружбу. Через много лет, в 1854 году, Тютчев писал жене: «...Лазарев, давнишний друг нашей семьи... и совершенно особенным образом расположен к нам».

Христофор Лазарев (1789–1871), как и его братья – Артемий, геройски павший в Битве народов под Лейпцигом, Иван, Лазарь – и зять (муж сестры) Давид Абамелек, сражался с наполеоновскими захватчиками в Отечественной войне 1812 года.

Тютчев знал Христофора Лазарева с детства, а впоследствии прожил около двадцати лет в его петербургском доме на Невском проспекте. Он был также особенно дружен с племянницей (дочерью сестры) Лазарева, Анной Абамелек, известной в свое время поэтессой и переводчицей, которой посвятили восторженные стихи Пушкин, Лермонтов, Вяземский, Иван Козлов; Анна Давидовна перевела на английский язык несколько стихотворений Тютчева. В 1835 году она вышла замуж за брата Евгения Боратынского Ираклия. Жила она и после замужества у своего дяди Христофора, в одном доме с Тютчевым. Словом, дружеские отношения с Лазаревыми и родственной им армянской семьей Абамелеков Тютчев действительно пронес сквозь всю жизнь.

В том самом 1810 году, когда Тютчевы поселились в Армянском переулке, семья Лазаревых начала подготовку к строительству знаменитого впоследствии Лазаревского института восточных языков, надолго ставшего основным средоточием всей армянской культуры и внесшего большой вклад в русскую культуру (особенно в русское востоковедение). Здание института и поныне красуется в Армянском переулке (дом 2) наискосок от тютчевского дома.

Тютчев с ранних лет, без сомнения, не раз бывал и в институте, и в доме Лазаревых, и, надо думать, уже тогда зарождалось в поэте то глубокое внимание к Востоку, особенно к православному Востоку, которое так сильно выразилось позднее в его стихах и размышлениях.

Весь армянский район Москвы, о чем уже упоминалось, сохранился во время страшного пожара 1812 года. В «Материалах для истории Лазаревского института» об этом сказано: «Приближенный императора Наполеона, некто из армян, любимый мамелюк Рустан, испросил у Наполеона повеление, чтобы весь квартал, от Покровки до Мясницкой улицы, и всё то, что принадлежит армянской церкви, было сохранено... для чего были повеления и поставлены военные французские караулы».

Едва ли Наполеоном руководила особенная любовь к своему мамелюку; не следует забывать, что император намеревался, покорив Россию, идти на Восток, в Индию, и ему ни к чему было заранее восстанавливать против себя один из народов Закавказья. Кроме того, в тех же «Материалах» отмечено, что «усердие и бдительность некоторых пребывающих в Москве тогда армян и еще соседей (по-видимому, и тютчевских людей, остававшихся в доме. – В. К.) отвратили бедствия пожара, и тем единственно спасена была эта часть древней столицы».

И тут, вероятно, главная разгадка. Как уже говорилось, четверо Лазаревых в это самое время сражались с французами в русской армии; но «некоторые пребывающие в Москве армяне» имели возможность предстать перед оккупантами в качестве иноземцев, оберегающих свое особенное достоинство.

Так или иначе дом Тютчевых – один из немногих в центральной части Москвы – уцелел, и хозяева возвратились в него из Ярославля. Кстати сказать, подмосковная усадьба Тютчевых, Троицкое, расположенная в двух шагах от Калужской дороги, по которой наполеоновские войска уходили из Москвы, была ими жестоко разорена.

Отечественная война 1812 года, во всём многообразии ее проявлений, оказала на Тютчева громадное воздействие, которое нельзя переоценить. Она во многом определила основы его мирозерцания, его восприятие и понимание России и Европы, истории и народа, а в известном смысле даже и миропорядка в целом. П. А. Флоренский справедливо говорил о формировании тютчевского мировоззрения: «Крушение наполеоновской системы – отсюда сознание тщеты и мимолетности человеческих индивидуальных усилий и мощи неизменной природы».

Могут возразить, что Тютчев был слишком мал, чтобы по-настоящему воспринять трагедию и героизм Отечественной войны; как уже было отмечено, он никогда не рассказывал о своих переживаниях этого времени. Но сохранились воспоминания (изданные за границей сто с лишним лет назад – в 1884 году) человека одного поколения с Тютчевым – А. И. Кошелева, видного впоследствии общественного деятеля. Кошелев был к тому же в начале 1820-х годов участником тех же самых юношеских кружков, что и Тютчев, и знал его лично.

Кошелев передал воспоминания своего детства так: «В день вступления Наполеона в Москву мы выехали из подмосковной в Коломну... Большая дорога от Бронниц до Коломны была запружена экипажами, подводами, пешими, которые медленно тянулись из белокаменной. Грусть была на всех лицах; разговоров почти не было слышно; мертвое безмолвие сопровождало это грустное передвижение... Воспоминание об этом – не скажу путешествии – о странном, грустном передвижении живо сохранилось в моей памяти и оставило во мне тяжелое впечатление.

В Коломне мы не могли оставаться, как потому, что негде было жить, так и потому, что мародеры французские показывались уже между Бронницами и Коломною. По получении известий о московских пожарах, отец мой решился ехать в Тамбов, где жил родной его брат... Из Коломны опять почти все разом тронулись, и на перевозе через Оку была страшная давка, толкотня и ужасный беспорядок. Во всё время нашего переезда до Тамбова слухам, рассказам не было конца; казалось, что Наполеон идет по нашим пятам. В Тамбове мы, наконец, поселились как должно; и тут матушка и сестра мои выучили меня читать и писать по-русски. Помню, мне было ужасно досадно, что меня не пускали в армию, и я постоянно спрашивал у матери: скоро ли мне можно будет идти на Бонапарта? Из пребывания нашего в Тамбове остались у меня в памяти общая грусть, причиненная успехами Наполеона, а впоследствии – общая радость при получении известия об отступлении, а потом о поражении и бегстве врага. В декабре мы возвратились в нашу подмосковную, где в доме, подвалах, сараях и пр. нашли всё разграбленным...

Весною отец и мать поехали в Москву и меня взяли с собою. Обгорелые стены каменных домов; одинокие трубы, стоявшие на местах, где были деревянные строения; пустыри и люди, бродящие по ним, – всё это меня так поразило, что доселе сохраняю об этом живое воспоминание...»

Нет сомнения, что Тютчев, который был на два с половиной года старше Кошелева, пережил всё это еще более сильно и глубоко.

Стоит вспомнить, что дорога из Москвы в Ярославль, по которой в 1812 году двигалась семья Тютчевых, проходит через Троице-Сергиеву лавру, где в 1380 году Дмитрий Донской

принял благословение Сергия Радонежского на Куликовскую битву, через Переславль-Залесский – родину Александра Невского, через Ростов Великий... В грозном свете Отечественной войны, без сомнения, с особенной силой засияла перед отроком Тютчевым историческая память, воплощенная в башнях и соборах этих городов. Той же дорогой Тютчевы возвращались в Москву, что было, вероятнее всего, в конце ноября 1812 года, после получения известий о сокрушительном разгроме наполеоновской армии при Березине (14–16 ноября). 28 ноября были именины Феди, названного в честь скончавшегося в этот день в 1394 году выдающегося исторического деятеля эпохи Куликовской битвы, ставшего одним из героев «Сказания о Мамаевом побоище», святителя Феодора Ростовского – племянника и воспитанника Сергия Радонежского. Феодор основал Симонов монастырь в Москве, накануне Куликовской битвы стал духовником Дмитрия Донского, а в 1387 году – архиепископом Ростовским. Быть может, именно в Ростове, по дороге в Москву, встретил Федя Тютчев свои именины, и в родительских рассказах о Феодоре Ростовском предстала и слилась с сегодняшним великим испытанием полутысячелетняя даль родной истории...

Но, конечно, реальные плоды тютчевского переживания и осмысления эпопеи 1812 года созрели позже, в 1830–1840-х годах. Поэтому речь о них должна идти в соответствующих главах книги. Будем только постоянно помнить о том, что на пороге сознательной жизни Тютчев пережил великое, даже величайшее действо Истории, определившее и очень быстрое созревание, и серьезность уже в первоначальных, отроческих чувствах и стремлениях.

Вскоре после возвращения в Москву началась, так сказать, новая эпоха в жизни Феди Тютчева – годы учения. Конечно, уже и до этого времени он с помощью родителей и своего «дядьки» Хлопова приобщился к русской грамоте, начаткам западных языков, первым сведениям по истории и географии, основам христианского учения. Но теперь в дом Тютчевых на шесть лет вошел поистине замечательный наставник – Семён Егорович Раич, без которого нельзя представить себе первоначальное становление Тютчева как человека и поэта.

Впрочем, прежде чем говорить о Раиче и его роли, необходимо со всей определенностью заметить, что едва ли мог бы вырасти подлинный поэт из мальчика, который с десятилетнего возраста был без остатка погружен в книги, тетради и лекции. Годы учения Тютчева являли собой живые и полнокровные отрочество и юность, прошедшие в обширном кругу сверстников из родственных и знакомых семей, а также крестьянских детей.

До нас дошли крайне скудные сведения об этом периоде жизни будущего поэта, но всё же имеется письмо, где Тютчев через тридцать лет с трогательным чувством вспоминал о детских балах, устраивавшихся в московском доме, балах, для которых его сестра Дашенька «тщательно составляла пригласительные списки». Упоминание об этом опять-таки невольно обращает нас к «Войне и миру», где воссоздан, в частности, детский бал в Москве начала XIX века. Бывали юные Тютчевы и на детских балах в доме князей Трубецких вблизи Армянского переулка, у Покровских ворот, – доме в стиле пышного барокко (и сегодня украшающем Москву), получившем прозвание «комод»; на этих балах бывал и мальчик Пушкин.

Сохранились свидетельства о том, что Тютчевы жили в Москве по присущим ей бытовым канонам – жили открыто, широко, хлебосольно. Семья целиком предавалась ритуалам праздников, крестин, свадеб, именин. Тем более что в просторном тютчевском доме всегда обитало, как уже говорилось, множество родственников, гостей, жильцов.

Вошедший в дом Тютчевых С. Е. Раич (до этого он, кстати сказать, два года был домашним учителем в семьях сестер отца поэта – А. Н. Надоржинской и Н. Н. Шереметевой) ни в коей мере не стеснял отроческой свободы своего воспитанника; он был человеком живого и открытого характера, чуждого какого-либо педантизма. Вообще можно с большими основаниями утверждать, что Семён Егорович оказался своего рода идеальным наставником будущего поэта. Особенно существенно то, что Раич, будучи всего на одиннадцать лет старше своего воспитанника, развивался и обретал зрелость вместе, заодно с ним.

Семён Егорович родился в 1792 году в селе Рай-Высокое недалеко от Орла, в семье местного иерея Е. Н. Амфитеатрова. Его ждал традиционный путь сына священника. К восемнадцати годам он окончил Орловскую духовную семинарию (в городе Севске), где, согласно обычаю, взял себе новую фамилию – явно по названию родного села – Раич. Стоит отметить, что старший брат Семёна Егоровича, триумфально пройдя по тому же пути, достиг сана митрополита (Киевского). Но Раич, отчасти в силу рано зародившейся страсти к поэзии (он уже в семинарии постоянно сочинял стихи), отчасти по причине слабого здоровья, которое было несовместимо с напряжением повседневных церковных служб, после окончания Орловской семинарии стал канцеляристом в суде подмосковного города Руза, а вскоре решил избрать поприще домашнего учителя и одновременно готовиться к поступлению в Московский университет.

Даровитый выпускник одной из лучших тогдашних семинарий, Раич в совершенстве изучил древнегреческий и латинский языки и превосходно знал классическую поэзию Античности. На основе латыни он глубоко освоил итальянский язык и стал одним из лучших в России того времени знатоков поэзии Данте, Петрарки, Ариосто, Тассо. С другой стороны, Раич свободно владел церковнославянским языком – то есть, в частности, литературным языком Древней Руси – и был восторженным поклонником русской поэзии XVIII века во главе с Державиным.

Свое знание фундаментальных основ европейской и русской литературы Раич сполна передал ученику. Через много лет Раич рассказывал о начале своих отношений с Фёдей Тютчевым: «Необыкновенные дарования и страсть к просвещению милого воспитанника изумляли и утешали меня; года через три (то есть к 1816 году. – В. К.) он уже был не учеником, а товарищем моим, – так быстро развивался его любознательный и восприимчивый ум».

Нельзя не сказать, что Раич избирал для своего ещё очень юного воспитанника плодотворнейшие «методы» преподавания. Он сам «с удовольствием» вспоминал «о тех сладостных часах, когда, бывало, весною и летом, живя в подмосковной (уже упомянутое село Троицкое по Калужской дороге. – В. К.)... вдвоем с Ф. И. выходили из дому, запасались Горацием, Вергилием или кем-нибудь из отечественных писателей и, усевшись в роще, на холмике, углублялись в чтение...». Фёдор, как свидетельствует Раич, «по тринадцатому году переводил уже оды Горация с замечательным успехом».

И, главное, пожалуй состояло именно в том, что учились в равной мере оба – и десятилетний воспитанник, и двадцатилетний наставник. В 1815 году Раич поступил вольнослушателем в Московский университет и через год-полтора стал брать с собой Фёдора на лекции Мерзлякова и других профессоров. Окончив последовательно два отделения университета – этико-политическое и словесное (последнее он окончил на полгода позднее своего ученика Тютчева), Раич занялся многогранной деятельностью: преподавал словесность в Университетском благородном пансионе (где одним из его учеников оказался Лермонтов), издавал литературный журнал «Галатея» и альманах «Северная лира», много переводил (главным образом древнеримских и итальянских поэтов), публиковал стихотворения и поэмы, наконец, состоял членом декабристского Союза благоденствия.

Семён Раич не был выдающимся писателем (хотя его стихи, переводы, издания вошли в качестве неотъемлемой части в русскую литературу 1820–1830-х годов). Но столь же несомненно, что Раич сыграл выдающуюся роль как литературный деятель, как своего рода инициатор, родоначальник целого периода в развитии русской литературы и, шире, культуры. Те черты его характера и его отношения к искусству и культуре, которые оказали плодотворнейшее воздействие на юного Тютчева, ярко проявились и в его взаимосвязях со множеством молодых писателей, ученых, мыслителей, начавших свой путь на рубеже 1810–1820-х годов.

Тютчев высоко ценил своего наставника-друга. Он посвятил ему два из немногочисленных юношеских стихотворений. Первое из них, написанное в шестнадцать лет, привет-

ствуется завершение долгого и поистине творческого труда Раича, переводившего поэму Вергилия «Георгики». Стихотворение построено юным стихотворцем согласно общепринятым тогда условным канонам поэтического «послания», но сквозь них слышна непосредственность и сила чувств:

...Ты рассек с отважностью и славой
Моря обширные – своим рулем, —
И днесь, о друг, – спокойно, величаво
Влетаешь в пристань с верным торжеством.
Скорей на брег – и дружеству на лоно
Склони, певец, склони главу свою —
Да ветвию от древа Аполлона
Его питомца я увью!..

Поводом для второго стихотворения, написанного Тютчевым через три года, послужила защита Раичем магистерской диссертации. Здесь Тютчев как бы делает смотр стремлениям и делам Раича, говоря в том числе и о его участии в деятельности Союза благоденствия:

Как скоро Музы под крылом
Его созрели годы —
Поэт, избытком чувств влеком,
Предстал во храм Свободы...

Стихи завершает многозначительная строфа:

Ум скор и сметлив, верен глаз,
Воображенье – быстро...
А спорил в жизни только раз —
На диспуте магистра.

Раич, очевидно, очень дорожил этим посланием; через пять лет, когда Тютчев уже служил за границей, оно было опубликовано в журнале «Атеней», который издавал близкий Раичу профессор Московского университета М. Г. Павлов. Трудно сомневаться в том, что стихи передал в журнал сам Раич; кстати сказать, он был чужд какой-либо нескромности, и стихотворение появилось в журнале с заголовком «К NN», а не «К Раичу».

В последней строфе девятнадцатилетний Тютчев говорит о том, чем он, надо думать, особенно дорожил: «Ум скор и сметлив, верен глаз, воображенье быстро».

Иван Аксаков передавал воспоминания знавших юного Тютчева людей: «Все свойства и проявления его детской природы были окрашены какою-то особенно тонкою, изящною духовностью. Благодаря своим удивительным способностям, учился он необыкновенно успешно... Уже и тогда нельзя было не заметить, что учение не было для него трудом, а как бы удовлетворением естественной потребности знания».

В том, что Тютчев с самых ранних лет, как сообщает Иван Аксаков, «постоянно расширял кругозор своей мысли и свои познания, которым так дивились потом и русские, и иностранцы», не было и тени какого-либо искусственного напряжения: «Он только свободно подчинялся влечениям своей, в высшей степени интеллектуальной, природы. Он только утолял свой врожденный, всегда томивший его умственный голод».

Так, в частности, «Тютчев обладал способностью читать с поразительной быстротою, удерживая прочитанное в памяти до малейших подробностей, а потому и начитанность его

была изумительна... Эту привычку к чтению Тютчев... сохранил до самой своей предсмертной болезни, читая ежедневно... все вновь выходящие сколько-нибудь замечательные книги русской и иностранной литератур, большею частью исторического и политического содержания».

Человек, который был близким другом Тютчева позднее, в пору его тридцатилетия, при том человек, сам обладавший страстью к знанию – речь идет о князе И. С. Гагарине, – в своих кратких воспоминаниях всё же не мог обойти эту черту поэта: «Тютчев много читал и он умел читать, т. е. умел выбирать, что читать, и извлекать из чтения пользу».

Когда Тютчеву не было еще и семнадцати лет, М. П. Погодин (ему тогда было уже около двадцати) записал в своем дневнике: «Ходил в деревню (Троицкое под Москвой. – В. К.) к Ф. И. Тютчеву, разговаривал с ним о немецкой, русской, французской литературе, о религии, о Моисее, о божественности Иисуса Христа, об авторах, писавших об этом: Виланде, Лессинге, Шиллере, Аддисоне, Паскале, Руссо». К этому необходимо добавить, что позднее Погодин, движимый уязвленным нравственным чувством, каялся в том же дневнике: «Тютчев дал мне недели две тому назад воспоминания Шатобриана и спросил, прочел ли я. Я, не принимавшись за нее (книгу. – В. К.), но совестясь, что она лежит у меня долго, отвечал да, что она мне понравилась и пр... Еще он сказал, что ему не нравится смерть Элоизы у Руссо, я, не читав ее, сказал да...»

Из этого естественно сделать вывод, что и во время первой описанной Погодиным беседы о многочисленных книгах говорил о существовании дела главным образом Тютчев, а сам Погодин в большей мере «поддакивал».

Чрезвычайно рано сложились у Тютчева и навыки литературного труда. Как уже говорилось, Раич свидетельствовал, что «по тринадцатому году он переводил уже оды Горация с замечательным успехом». Ранние тютчевские переводы не сохранились, но до нас дошло написанное именно «по тринадцатому году» стихотворение «На новый 1816 год», в котором о завершившемся годе сказано:

Как капля в Океан, он в Вечность погрузился!.. <...>
О Время! Вечности подвижное зеркало! —
Всё рушится, падет под дланию твоей!..
Сокрыт предел твой и начало
От слабых Смертного очей!.. <...>
Пустынный ветер свистит в руинах Вавилона!
Стадятся звери там, где процветал Мемфис!
И вокруг развалин Илиона
Колючи терны обвились!..

Конечно, стихи эти пронизаны отзвуками поэзии Ломоносова, Державина, молодого Карамзина. И всё же нет сомнения, что для двенадцатилетнего автора начала XIX века такие стихи были редкостным достижением. Естественно предположить, что в самом ближайшем будущем автор этого стихотворения должен стать настоящим поэтом. Однако развитие Тютчева оказалось значительно более сложным. Он действительно стал поэтом лишь через полтора десятилетия. До конца 1820-х годов он сочинил всего несколько стихотворений (не считая переводов), которые к тому же в большинстве своем представляли собой так называемые «стихи на случай» (то есть являлись стихотворными откликами на какое-либо событие или явление).

Тютчев явно не торопился стать поэтом, несмотря на то, что первые же его опыты встретили самый благоприятный прием. Именно стихи «На новый 1816 год», по-видимому, попали в руки поэта (создателя славной песни «Среди долины ровныя...») и университетского профессора Мерзлякова, и он прочитал их в Обществе любителей российской словесности при

Московском университете. Юный стихотворец был сразу же избран сотрудником общества. Позднее, в начале 1819 года, в печатных «Трудах» общества появилось тютчевское вольное переложение «Послания Горация к Мecenату...»; Тютчеву в то время исполнилось всего лишь пятнадцать лет. Предание донесло до нас, что «это было великим торжеством для семейства Тютчевых и для самого юного поэта». Вслед за тем в университетских изданиях были напечатаны еще три переводных и одно оригинальное стихотворение Тютчева.

Казалось бы, столь поощряемый юноша должен был целиком отдаться стихотворчеству. Но этого не произошло. Тютчев действительно стал поэтом, когда ему уже было за двадцать пять лет, – и сразу выступил как совершенно зрелый и самобытный поэт, более того, как великий поэт...

Надо думать, Тютчев просто не хотел писать недостаточно зрелые стихи. И к тому же он в эти годы весь был отдан другому – всестороннему и глубокому освоению мировой культуры. В одной уже цитированной погодинской записи о беседе с Тютчевым хорошо видна широта его интересов. Он не расставался с книгами. Вот характернейший рассказ того же Погодина о том, каким он помнит Тютчева в юности: «Молоденький мальчик с румянцем во всю щеку (именно таким Фёдор предстает на портрете начала двадцатых годов. – В. К.) в зелененьком сюртучке, лежит он, облокотясь, на диване и читает книгу. Что это у вас? Виландов *Агамомедон*».

Выше приводились стихи девятнадцатилетнего Тютчева, где сказано, что Раич «спорил в жизни только раз – на *диспуте магистра*». Здесь проходит резкая грань между наставником и учеником. Тютчев вроде бы восхищается предельной доброжелательностью и кротостью Раича, который вступил в спор лишь в той ситуации, когда было, как говорится, положено спорить. Но сам Тютчев с юных лет и до смертного одра вел непреклонные споры с бесчисленными оппонентами.

В погодинском дневнике есть запись о восемнадцатилетнем Фёдоре: «Тютчев имеет редкие, блестящие дарования, но много иногда берет на себя и судит до крайности неосновательно и пристрастно».

Оставим выражение «неосновательно» на совести хроникера; из той же погодинской хроники явствует, что Тютчев уже в юности обладал чрезвычайно основательными знаниями и понятиями. Что же касается выражений «много берет на себя» и «судит до крайности... пристрастно», они могут обозначать совершенно разные, противоположные свойства: чрезмерные претензии и чувство подлинной ответственности, капризный субъективизм и глубоко обоснованную убежденность. Жизнь Тютчева доказывает, что он имел право «много брать на себя» и «судить до крайности пристрастно».

В конечном счете, именно в том, что Тютчев с самых юных лет «много брал на себя», залегает непреходимый рубеж между ним и его наставником Раичем. Уже шла речь о замечательных чертах Раича. До какого-то пункта он и Тютчев шли рука об руку. Ярче всего это выразилось в том, что Раич начал писать стихи «тютчевского» духа и склада раньше, чем... сам Тютчев. Как мы еще увидим, «тютчевское» направление, «тютчевская» школа поэзии была широкой и многолюдной. Во второй половине 1820-х и в 1830-х годах большинство молодых поэтов двигалось в русле тех же идей и того же стиля, что и Тютчев, – подчас, кстати сказать, вообще не зная его творчества. И одним из первых или даже самым первым вступил на этот путь не кто иной, как Раич. В 1823 году он писал вполне «по-тютчевски»:

На море легкий лег туман,
Повеяло прохладой с берега —
Очарованье южных стран,
И дышит сладострастно нега.
Подумаешь: там каждый раз,
Как Геспер в небе засияет,

Киприда из шелковых влас
Жемчужну пену выжимает.
И, улыбаяся, она
Любовью огненную пышет,
И вся окрестная страна
Божественною негой дышит.

Тот, кто хорошо знает и помнит поэзию Тютчева, ясно увидит здесь близкие ей настроенность, черты образности и стиля и даже интонационно-синтаксические формы. Между тем сам Тютчев создал первые стихи, всецело выдержанные в этом духе и стиле, лишь в 1825 году; речь идет о «Проблеске», в центре которого образ «воздушной – эоловой – арфы» (такая арфа, между прочим, была именно у Раича). Толстой в 1880-х годах сделал к этому стихотворению пометку «Т.!!!» – то есть мысли и форма, свойственные одному только Тютчеву:

Дыханье каждое Зефира
Взрывает скорбь в ее струнах...
Ты скажешь: ангельская лира
Грустит, в пыли, по небесах!

Разумеется, стихи Раича, в сравнении с тютчевскими, несоизмеримо менее содержательны; они сглажены, плоскостны и по смыслу, и по стилю. Но «школа» всё-таки одна. Толстой, кстати сказать, вообще не знал основательно забытой к восьмидесятым годам поэзии тютчевского круга (в том числе поэзии Раича). Поэтому он и считал «свойственными одному Тютчеву» черты целой поэтической школы.

Ранняя молодость Тютчева – с семнадцати до восемнадцати с половиной лет – целиком прошла в Москве и ее окрестностях; в Овстуге он в это время не бывал. Еще в 1818 году Тютчев пережил в Москве событие, которое горячо и свято хранил в памяти до самой своей кончины.

В этом событии участвовал тогдашний первый поэт России, Василий Жуковский (Державин к тому времени уже умер, а Пушкин был еще пока только учеником Жуковского). И прежде всего необходимо рассказать об отношении Тютчева к Жуковскому. Он близко узнал его очень рано – тому есть документальное свидетельство.

28 октября 1817 года Жуковский записал в дневнике: «Обедал у Тютчева⁷. Вечер дома. Счастье не цель жизни...»

Не будет натяжкой предположить, что именно эту тему о счастье развивал Жуковский днем в доме Тютчевых перед отцом и юным сыном, – потому и написал о ней вечером в дневнике.

Через двадцать с лишним лет в Италии Тютчев, вскоре после тяжелейшей потери – смерти жены, обращается с письмом к Жуковскому, только что приехавшему в Италию, прося его о встрече: «Вы не даром для меня перешли Альпы... Вы принесли с собою то, что после нее (погибшей жены. – В. К.) я более всего любил в мире: отечество и поэзию... Не вы ли сказали где-то: в жизни много прекрасного и кроме счастья. В этом слове есть целая религия, целое откровение...»

Мотив этот присутствует в ряде произведений Жуковского, но, возможно, Тютчеву запало в душу то, что Жуковский сказал в 1817 году в доме в Армянском переулке, глубоко поразив юношеское сознание («счастье не цель жизни»).

⁷ Отца поэта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.